

ЗА ЛЕНИНСКИЙ УЧЕБНИК ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Обзор учебников по истории русской литературы XIX и XX вв.; Львова-Рогачевского, Евгеньева-Максимова, Кубикова, Горбачева, Майзеля, Войтоловского, Назаренко.

УЧЕБНИКИ КАК УЧАСТОК КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ

Наступление пролетариата на капиталистические элементы в стране, выкорчевывание питающих эти классы частновладельческих форм хозяйства сопровождается развернутым наступлением пролетариата на всех участках идеологического фронта. Борьбе в области экономической и политической соответствует обострение классовой борьбы во всех областях идеологии. Наступая на бешено сопротивляющегося классового врага, пролетариат и здесь в борьбе с враждебными буржуазными, реакционными, идеалистическими теориями, а также с ревизионистскими теориями меньшевистствующего идеализма и механицизма, закаляет свою собственную теорию и, принимая и в этих областях метод марксизма-ленинизма, укрепляет свою идейную гегемонию на всех участках идеологического фронта.

Письмо тов. Сталина в редакцию «Пролетарской революции» мобилизует партию на борьбу за «кровные интересы большевизма» против троцкистской и др. буржуазной контрбанды на идеологическом фронте, против опасности «гнилого либерализма», граничащего с прямой изменой делу партии и рабочего класса.

Борьба с буржуазными идеалистическими теориями в философии (Лосев и др.), буржуазными теориями в исторических науках (Платонов, Тарле), разгром механистов, а также меньшевистских теорий и меньшевистствующего идеализма в различных науках (Громан, Суханов, Рубин, Переверзев и др.), разоблачение троцкистских контрабандистов и т. д., — все это свидетельствует о решительном наступлении пролетариата в области идеологии на позиции классового врага, маскирующегося зачастую приспособленческой маской марксистской терминологии (Рубин, Переверзев, троцкистский контрабандист Горбачев и др.).

Даже такая, казалось бы, отдаленная от прямой классовой борьбы область, как область учебников, является такой же ареной ожесточенной классовой борьбы, как и другие участки идеологического фронта, тем более, что сфера влияния этих учебников захватывает широчайшие и важнейшие участки подрастающих кадров пролетарской и революционной молодежи, не всегда достаточно закаленной для того, чтобы самостоятельно дать отпор и разоблачение тончайшим формам буржуазных влияний, проводимых зачастую этими учебниками.

В области литературной науки в течение долгого времени откровенно буржуазные учебники и книги были зачастую единственными пособиями, да еще рекомендуемыми зачастую людьми, пользовавшимися репутацией марксистов. Так область поэтики, а кое в чем и истории русской литературы (поэзии главным образом) была почти целиком «на откуп» у формалистов, этой реакционнойшей буржуазной школы 20-х гг. нашего века. Формалистов усиленно издавали некоторые издательства. Формалистов рекомендовали, хотя и не без оговорки, Л. Троцкий, Г. Горбачев, Г. Лелевич и Н. Бухарин. У формалистов советовали учиться и их использовать, «подводя под них социологическую базу» (Горбачев). Одно из издательств выпустило несколькими изданиями и в значительном тираже для пользования широчайшими слоями рабкоров и селькоров книгу одного из наиболее схоластических формалистов Г. Шенгели: «Как писать статьи, стихи и рассказы». Уже в 1931 г. Лен. отд. ГИХЛ'а выпустило 5 изданием «Теорию литературы» формалиста Томашевского, а «Издательство писателей в Ленинграде» — «Современное стиховедение», — книгу буржуазного схоласта и догматика Пяста.

Если формалисты были долгое время «гегемонами» в области поэтики и отчасти истории русской поэзии, то основными учебниками и пособиями по истории русской литературы XX и особенно XIX в. снабжали книжный рынок главным образом эклектики и эпигоны культурно-исторической школы (Сакулин и мн. др.), деля свое исключительное положение в пределах XIX в. с механистами и меньшевиками Переверзевым, Кубиковым и др., а в истории до XIX в. с механистом Келтуялой.

Целью настоящего обзора является показ того, как безобразно обстоит дело в области учебников по истории русской литературы XIX и XX вв. Обзор охватывает наиболее «известные» и во всяком случае наиболее переиздававшиеся и реко-

мендованные учебники, а также учебники и пособия авторов, незаслуженно пользовавшихся до сих пор репутацией марксистов и считавших себя таковыми. Из представителей последнего типа выпадает в настоящем обзоре ряд авторов, которые ввиду обилия изданных ими книг нуждаются в самостоятельном обзоре (например П. С. Коган, В. П. Полонский и др.), либо уже получили в марксистской критике достаточно правильную оценку своих работ как антимарксистских, антиленинских (Троцкий, Воронский и др.). Выпадает из этого обзора также ряд марксистских работ по истории русской литературы, нуждающихся в большой критике (например, работы А. В. Луначарского, В. Полянского и др.). Из старых работ, пользовавшихся кое у кого репутацией марксистских, выпадают две книги давно не переиздававшегося Соловьева-Андреевича. Во всяком случае, за исключением работ П. С. Когана, в обзор вошли все наиболее используемые и даже рекомендуемые учебники и пособия по истории русской литературы главным образом XIX и отчасти XX вв., из числа не подвергавшихся до сих пор достаточной критике со стороны марксистского литературоведения.

БУРЖУАЗНЫЕ ЭПИГОНЫ.

Недавно скончался В. Л. Львов-Рогачевский, автор многочисленных историко-литературных работ. Его работы («Новейшая русская литература», «Художественная литература революционного десятилетия», «Очерки пролетарской литературы» и др.) пользуются широкой популярностью: в школе их прорабатывают, им верят, по ним знакомятся со всей историей новейшей русской литературы, начиная со второй половины прошлого века и кончая нашими днями. Между тем, прорабатывать их можно лишь в критическом смысле, верить им нельзя, знакомиться по ним с историей русской литературы невозможно. Наиболее популярной книгой Львова-Рогачевского, еще к 1927 г. выдержавшей семь изданий, является «Новейшая русская литература», охватывающая период времени со второй половины XIX в. вплоть до начала второй четверти XX в. Эта работа, снабженная, кстати сказать, кратким методологическим введением, дает наиболее интересный и показательный материал для характеристики типично буржуазных литературоведческих позиций Львова-Рогачевского.

Еще в предисловии к 5-му изданию своей книги, датированном 1925 г., Львов-Рогачевский спешит определить свое методологическое кредо. «При занятиях по литературе,— пишет он,— мы должны сочетать марксистский метод с достижениями формальной школы». Подчеркивая далее, что «эти достижения критически разрабатываются и используются только как материал», Львов-Рогачевский аргументирует необходимость «сочетания» марксистского метода с этими достижениями тем, что «мы должны знакомиться не только с идеологией художника (разрядка Л. Р.), связанного с классом, но и с теми приемами и средствами, пользуясь которыми этот художник преобразует явления действительности в «перл создания», в художественные произведения». Нет нужды приводить «критические» замечания Львова-Рогачевского по поводу формального метода. Эти замечания исходят полностью из позиций явно идеалистических («Формальная школа знает только анализ приема. Она забывает, что у писателей не только приемы, но и цели»). Путь «синтеза» марксистского метода с достижениями формальной школы враждебен марксистскому монистическому анализу литературного стиля. Марксист рассматривает все компоненты художественного произведения как противоречивое диалектическое единство, организованное идеологией художника, его классовым мировоззрением. Для марксиста неприемлема постановка вопроса, требующая анализа «не только идеологии, но и художественных «приемов и средств», ибо в диалектико-материалистическом литературоведческом анализе «приемы и средства» осмысливаются как выражение мировоззрения, организующего весь идейно-художественный комплекс произведения.

Наличие этой постановки вопроса у Львова-Рогачевского свидетельствует о стремлении «дополнить» марксистский метод формалистскими теориями, а по существу прикрыть марксистской терминологией и тем самым протащить буржуазную методологию формализма.

«Классовая идеология художника или ученого далеко не заполняет все содержание их творчества, и часто то, что хотел сказать художник, противоречит тому, что невольно сказалось», пишет Львов-Рогачевский в своем методологическом введении (7). Типично буржуазная логика! Считая «приемы и средства» фактами содержания, но не идеологии, автор естественно пришел к тому, что «классовая идеология не заполняет все содержание» художественного творчества.

В этой связи характерны те возражения, которые Львов-Рогачевский делает Переверзеву по поводу социальной основы творчества Достоевского. Правильно констатируя, что у Переверзева «огрублен социологический подход», Львов-Ро-

гачевский поясняет, в чем состоит это «огрубление»: В. Ф. Переверзев недостаточно учитывал индивидуальные черты Ф. М. Достоевского при объяснении раздвоения его психики, не учитывал его болезненности (132). Эта «поправка» целиком понятна в свете предыдущих высказываний Львова-Рогачевского на тему о соотношении классовой идеологии и содержания в художественном произведении. Если классовая идеология не покрывает содержания произведения, то вполне естественным становится учет других факторов, влияющих на содержание в не меньшей, чем идеология, степени. К числу этих факторов в конкретном примере с Достоевским Львов-Рогачевский относит болезненность автора «Братьев Карамазовых» и «Преступления и наказания». Так Львов-Рогачевский и здесь протаскивает голый субъективизм, идеализм чистойшей воды.

Вторая ошибка, сделанная Львовым-Рогачевским в этой же короткой цитате, состоит в неправильном понимании субъективных и объективных моментов в художественном творчестве. «Часто, что хотел сказать художник, противоречит тому, что невольно сказалось». Такие случаи действительно имеют место. Являются ли они, однако, подтверждением того, что «классовая идеология» художника не заполняет все содержание его творчества? Наоборот, Львов-Рогачевский выступает здесь как представитель буржуазного литературоведения, сознательно искажающий в своих классовых целях марксизм и протаскивающий откровенные идеалистические теории. На самом же деле противоречие между субъективными намерениями художника и объективно-классовым смыслом его творчества может быть объяснено лишь определяющим действием классовой идеологии. Как бы хороши ни были замыслы Вяч. Шишкова в «Дикольче», объективно получилась кулацкая вещь.

Из всего вышесказанного с достаточной ясностью вытекает общая характеристика методологических позиций Львова-Рогачевского. Стремление «дополнить» марксизм теми или иными идеалистическими теориями (будь то теория приема, заимствованная у формалистов, или психологическая теория, заимствованная у Овсяннико-Куликовского) — такова сущность этих позиций. Обширная «марксистская» фразеология маскирует совершаемую Львовым-Рогачевским подмену марксизма эклектической похлебкой, состоящей из обрывков всевозможных идеалистических теорий и оправдываемой необходимостью изучения литературы «во всей сложности ее форм и проявлений».

Однако методологическое введение бледнеет на фоне конкретно-исследовательского существа книги Львова-Рогачевского. Критические и литературоведческие оценки, даваемые автором «Новейшей русской литературы» на протяжении своего исторического обзора, могут послужить примером буржуазной «конкретной критики». Наш «критик» распоясывается здесь во всю и показывает свое подлинное лицо. Здесь его «критика» становится политическим выступлением классового врага, не скрывающим своего антисоветского острия. Только классовый враг мог написать следующие строки о Борисе Зайцеве, контрреволюционном поэте, в 1922 г. эмигрировавшем в Италию: «Италия — вторая родина — даст ему материал для таких же поэтических произведений, какими были его «Венеция» и другие итальянские очерки, точно впитавшие в себя золото в лазури». Львов-Рогачевский пишет следующие строки об архибуржуазном писателе Сергееве-Ценском: «В его большой душе, тоскующей по ярком, прекрасном и сильном человеке, живут две души, друг другу чуждые, и жаждут разделения: душа Мефистофеля из того же Щигровского уезда, откуда пришел тургеневский Гамлет, и душа Франциска Ассизского». Наконец, Львов-Рогачевский не находит других слов о Н. Гумилеве, расстрелянном за участие в контрреволюционном заговоре: «Сквозь огонь и бури современности прошел этот бесстрашный, закovaný в железные доспехи рыцарь средневековья и наложил свою печать на все свои книги». Эти цитаты дают достаточно убедительные свидетельства, как буржуазный критик использует благодушные советских издательств для апологетики классово враждебной пролетариату литературы.

Львов-Рогачевский использует историю литературы, чтобы замазать ее классовое существо. Исчисляя в составе истории русской литературы пять периодов, Львов-Рогачевский характеризует эти пять периодов таким образом. Первый период — «связан с крепостной Россией, с дворянской усадьбой, с дворянской культурой». Второй период — «связан пореформенными отношениями с городским чердаком и подвалом, с крестьянской избой». Третий и четвертый периоды — «связаны с новой городской буржуазной Россией и дают содержание новейшей русской литературе». Наконец, пятый период открывается в послереволюционные годы, «когда на авансцену истории выступили пролетариат и крестьянство».

Эта периодизация весьма красноречива. Она заострена против ленинского понимания русского исторического процесса. Эта периодизация, берущая литературу города или литературу деревни как единую литературу, дающая подход территориальный, культурнический, какой угодно, только не классовый, обнаруживает

явную попытку буржуазного идеолога протаскать свои классовые идеи. Именно в результате этого подхода Лев Толстой попадает у Львова-Рогачевского под одну рубрику с Гумилевым, Достоевский с Бальмонтом, Горький с Андреевым. Именно в результате этого подхода группа кулацких поэтов объединяется под названием «Новокрестьянские писатели» и выдается за певцов трудового крестьянства, получившего «право на песню» после революции. Такая «слепота» в определении классового эквивалента творчества того или иного писателя либо группы писателей не является единичным случаем, а характеризует всю книгу Львова-Рогачевского, являясь актом сознательной классовой маскировки.

Об акмеистах — поэтах, представлявших группу, до конца враждебную идеям пролетарской революции, Львов-Рогачевский пишет: «Они влюблены в интенсивный колорит, в рельефные отчетливые формы, в чеканные детали, в стройность и размеренность линий».

Антимарксистские, антипролетарские позиции Львова-Рогачевского особенно ярко вырисовываются на материале современной литературы. Пролетарскую литературу Львов-Рогачевский игнорирует вообще. В главе, посвященной пролетарским писателям, Львов-Рогачевский останавливается на предреволюционной эпохе, бегло говорит о периоде «Кузницы», Пролеткульта и совершенно по-барски отмахивается от нового периода развития пролетарской литературы, представленного группой «Октябрь» и Всесоюзной ассоциацией пролетарских писателей: «ВАПП и МАПП ведут в 1925 г. решительную борьбу против попутчиков... В писательской среде создается тяжелая атмосфера вражды». Резолюцию ЦК о политике партии в области художественной литературы Львов-Рогачевский противопоставляет напостовской линии: «Оздоровляющую струю,— пишет он,— вносит резолюция ЦК». Эта позиция прекрасно объясняет симпатию, которую Львов-Рогачевский питает к группе «Перевал». «Характерная черта творчества перевальцев — художественная добросовестность, искренность переживаний». С этой же позиции целиком согласуется и ориентация на попутчиков первого призыва (Всеволод Иванов, Б. Пильняк, Л. Сейфуллина). Львов-Рогачевский, захлебываясь, пишет о том, что «бескрайная Сибирь, мужицкая стихия родили творчество Вс. Иванова», о том, что Иванов «открыл нам Сибирь во всей ее первобытной красочности», о том, что Иванов стремится понять Сибирь «с помощью интуиции, а не готовой директивы», и т. д.

Обобщая все эти высказывания, надо сделать вывод, что творчество Львова-Рогачевского — яркий пример протаскивания враждебных пролетариату буржуазно-идеалистических теорий. Книги Львова-Рогачевского под лаком марксистской фразеологии искажают процесс литературного развития. Легенда о Львова-Рогачевском-марксисте, поддерживавшаяся иными Фатовыми (см. Ив. Розанов «Путеводитель по современной русской литературе»), должна быть разрушена. Лицо классового врага, протаскивающего откровенно реакционные идеи буржуазии, достаточно откровенно выглядывает из-под маски радикальной фразеологии, которая не должна больше обманывать рабфаковца и пролетарского студента.

Очерки истории русской литературы Л. Войтоловского претендуют на репутацию марксистской работы уже по заголовку введения: «Задачи марксистской критики». Однако уже классификация периодов чужда марксистско-ленинской методологии, само название отделов не выдерживает критики. Так, второй отдел «Новые голоса» охватывает творчество Кольцова, Огарева, Шевченко и Никитина. Становится непонятным, почему автор очерков лишает права «нового голоса» Рылеева, Бестужева и др. Разве это не новые голоса своей эпохи? В отдел «Святая хозяйственность» наряду с Некрасовым и Салтыковым включены Островский и Достоевский и т. д. и т. п. Названия отделов случайны, произвольны. Они не характеризуют содержание отделов и характер творчества отдельных групп писателей.

Могут ли, однако, очерки удовлетворить в целом потребности массового читателя и научить его правильно воспринимать и использовать литературное наследство как «колыбель будущего»? На этот вопрос дают отрицательный ответ сами очерки.

Основной их порок заключается в неправильном понимании искусства, в частности, литературы, которая, по Войтоловскому, есть формула движения жизни, источник живого общения человека с окружающим миром. «Красота — по определению Войтоловского — есть «сущность искусства». Идейное содержание как основа искусства, выхолщивается, устраняется автором очерка. Политическая направленность и мировоззрение автора не играют для Войтоловского решающей роли. Однако для марксиста роль художественного произведения определяется классовой идеей, положенной в основу произведения, а не качеством эффекта, произведенного в читательской среде, как то неправильно утверждает Войтоловский в согласии с Горбачевым и Иоффе. По утверждению автора очерков «очарование красоты заключается в том, что она заражает настроением и чувством худож-

ника», что сущность искусства состоит в эстетическом наслаждении; легко вскрывается единодушие автора с Аксельрод, которая «отличительными свойствами и целью искусства» считает «удовлетворение» эстетической потребности человека, корни которой лежат в биологии» («Вопросы искусства», «Красная новь», кн. 6 за 1926 г., стр. 150). Расхождение с марксистским искусствознанием очевидно. Войтоловский своим определением сводит искусство как явление социальное к законам биологии вкуче с эмпириомонистами и со всякого рода вульгаризаторами марксизма.

Утверждая эстетическое наслаждение в качестве специфика искусства, автор очерков само искусство объявляет вечным. Так он «красоту», выраженную в произведениях Диккенса, Толстого Л., Аксакова, Гете и Чехова, считает «бессмертным в искусстве». Из этого следует, что литературное наследство классиков мы должны использовать как абсолют, а не критически, в целях создания своего пролетарского искусства. Старое искусство рассматривается Войтоловским не как исторически пройденный этап, а как нечто существующее вне времени. Здесь, Войтоловский повторяет вслед за буржуазными социологами, учеными типа Соловьева-Андреевича, давно опровергнутую вредную теорию о надклассовости искусства. Чего, например, стоит такое утверждение Войтоловского: «... у поэзии имеются свои эмоционально-идейные способы воздействия, такие же неумиряющие, прочные и неизменные, как солнце, весна и любовь... Произведения великих поэтов никогда не теряют своей юности».

Отрицая правдивость в искусстве, считая ее продуктом «сомнительного глубокомыслия критиков» и утверждая, что «от искусства мы постоянно требуем («эстетической жижи»)), и этим отталкиваясь от переверзианского определения искусства как простого повторения социального характера, Войтоловский приходит к отрицанию классового познания действительности искусством и борьбы за ее изменение.

Выступая в своих очерках против формалистов, Войтоловский неизменно скатывается к ним сведением идеи произведения к эффекту восприятия, пониманием искусства как системы приемов. С другой стороны, в ряде случаев при рассмотрении творчества отдельных писателей Войтоловским выпячивается идейно-тематическая сторона их творчества.

Связывая творчество писателя с «центральной идеей» данной эпохи, автор очерков готов видеть во всех его произведениях замаскированное выражение ее. Такой центральной идеей пушкинского времени он считает убеждение помещика в «убыточности барщинной системы хозяйства», заставившее последнего «возвысить голос в пользу раскрепощения мужика». Это и был, по Войтоловскому, фундамент для постройки идеологии декабристов. Все многообразные сюжеты в творчестве Пушкина служат якобы для выражения единственной темы: декабристов. Для доказательства этого положения автор очерков готов видеть замаскированное выражение идеи декабристов и в таких произведениях Пушкина, как «Египетские ночи». По его мнению они явились следствием необходимости скрыть современность «под пылью столетий», от «недремлющего ока цензуры». Поэтому Войтоловский готов видеть в «Египетских ночах» аллегорическое изображение декабристов, где Клеопатра служит символом, «посредством которого поэт передает нам свою идею, свои тайные мысли», а ложе Клеопатры сравнивается с Сенатской площадью.

Такой подход сузил все многообразие творчества Пушкина, затемнил социально-политическую обусловленность его произведений как единства, замененного исканиями литературной фальшивки.

Рассматривая творчество Л. Толстого, Войтоловский считает, что «тема о греховной любви и соблазнах плоти принадлежит к числу наиболее острых и запутанных вопросов и в творчестве и в мировоззрении Толстого». Более трех четвертей написанного в очерках посвящается разбору отношения писателя к смерти и к любви, но не показаны, не вскрыты его идеи, как «зеркало слабости, недостатков нашего крестьянского восстания». Толстой не показан писателем, который «... стоит на точке зрения патриархального наивного крестьянства и переносит его психологию в свою критику, в свое учение», в котором «слились «протест миллионов крестьян и их отчаяние» (Ленин).

Рассматривая творчество Некрасова, Войтоловский и здесь не изменяет себе. И если Пушкина он провозглашает революционным демократом, а всю его поэзию «проникнутую революционным пафосом декабристов», то Некрасова считает «глашателем боевых настроений, выразителем и путеводной звездой своей эпохи». Здесь им забываются такие немаловажные штрихи, как наличие у последнего пережитков дворянской психологии и патриархального страха перед капитализмом.

Второстепенные писатели использованы Войтоловским очень мало. Первостепенные — рассматриваются вне своего литературного окружения и поэтому вос-

принимаются изолированно. В очерках почти ничего не говорится о пушкинской плеяде. И совсем мало о народниках.

Можно было бы говорить еще и еще об очерках. Мы нашли бы в них и «фатальную игру экономических сил». Узнали бы, что «Тургенев родился романистом», что «литературные события находились в состоянии варки после разгрома 1905 г.» и т. д. и т. п.

Другой порок очерков: насилие над замыслом автора, искажающее характер творчества ряда писателей. Механицизм в соединении с идеализмом делают очерки эклектическим винегретом, в котором, нашли себе место идейки и буржуазно-социологической школы, и шулятиковщина, и переверзианство и т. п.

Буржуазным эпигоном, соединяющим посылки культурно-исторической школы с защитным использованием марксистской терминологией, является и автор популярного пособия «Очерк истории новейшей русской литературы». В. Евгеньев-Максимов — литературовед доктёрской либерально-социологической школы сакулинско-венгерского типа — признает необходимость изучения литературы «в тесной связи с эволюцией в хозяйственной жизни страны, а также в связи с явлениями политической жизни».

Эта «связь», «взаимозависимость», «обусловленность» понимается однако автором «Очерка новейшей литературы» в качестве системы параллельно идущих рядов, подлежащих учету историка литературы при изучении литературных фактов эпохи.

Начнем с периодизации русского историко-литературного процесса XIX—XX вв., которую дает автор «Очерка» во введении к 3-му изданию книги.

Первый период, с начала XIX в. до Крымской кампании, определяется тем, «что предпосылкой социально-экономических отношений в стране являлась система хозяйства, основанного на крепостном труде крестьян. Это — дворянский период нашей литературы».

Второй период охватывает 25-летие от Крымской кампании до 1 марта 1881 г. Он характеризуется, по В. Максиму «приходом в литературу представителей умственного пролетариата», т. е. разночинцев.

Третий период хронологически укладывается в рамки с 1881 по 1917 г. и тоже характеризуется господством в литературе разночинца. Однако, по словам Максимова, «если разночинец первого призыва и был горожанином, то взоры его были прикованы к деревне. Разночинец второго призыва, иными словами разночинец 80-х, 90-х, 900-х гг., теснейшим образом связан с городом, и город властвует над его сознанием».

Приведенная периодизация является не чем иным, как антиленинской исторической концепцией, сводящей, по сути дела, весь литературный процесс к истории интеллигенции, борющейся за «внеклассовые, внесловные» этические принципы.

«Очерк» Евгеньева-Максимова охватывает русскую литературу с 80-х гг. до 1926—27 г., т. е. посвящен в основном третьему периоду. Хотя во введении упоминается, что этот период определяет «все явственнее и явственнее ощущаемое» развитие капитализма, особенно промышленного капитализма, мы напрасно будем искать в книге отражения в литературных фактах этой эпохи классовых противоречий.

Следуя традиционному буржуазно-социологическому образцу, книга разбита на хронологические разделы: «восьмидесятые годы», «девяностые годы» и т. п.

Каждому литературному десятилетию предпослана статья на тему «Хозяйственная жизнь и политическое положение» и статья «Общественные и литературные течения». Далее идут обзоры творчества отдельных писателей на основе довольно произвольного отнесения их в ту или иную хронологическую рубрику.

Книга Евгеньева-Максимова насквозь компилятивна, представляя худший вид компиляции, так как и Венгеров, и Иванов-Разумник, и Горнфельд, и Айхенвальд, и Чуковский, и Воронский, Лелевич, Горбачев и много, много других источников, создают невообразимый методологический разнород — от субъективного идеализма до опошленной карикатуры на марксизм.

«Очерк» рассматривает историю литературы либо как историю индивидуальных внеобщественных сознаний писателей, либо как историю сознаний отдельных групп русской интеллигенции вне выяснения точного классового их облика.

Вот почему, например, в главе о Короленко есть сколько угодно патетики, восторженного преклонения перед «великим гуманистом», но нет разбора ни его ставки на буржуазно-либеральный «прогресс», ни идеи о «сверхклассовой» интеллигенции, ни других «мелочей», вне учета коих не понять ленинских оценок, данных народничеству 90-х гг. как реакционно-мистической «философии эпохи», как шагу «назад от Чернышевского» и т. п.

Совершенно запущивает Евгеньев-Максимов классовую природу русского символизма, когда пишет:

«Для представителей старшего поколения символистов символизм был в конечном итоге литературной формой, для представителей младшего поколения — мировоззрением».

О Леониде Андрееве в книге сказано очень много похвальных слов. Реакционная идеология Андреева однако тщательно замазана. «В идеологии его произведений и в его стиле — большое количество уязвимых мест даже с точки зрения не слишком придирчивого критика, — пишет Евгенийев-Максимов. — И все же каждый беспристрастный читатель из чтения его произведений должен вынести убеждение, что они принадлежат перу большого и оригинального художника, у которого были свои идеи: пусть иногда ошибочные (?), и который «умел их высказывать по-своему».

Таким образом, вместо раскрытия классового смысла художественного метода Андреева перед нами по существу апология писателя-реакционера.

В главе о литературе послеоктябрьского периода можно найти целый ряд клеветнических по отношению к пролетарской литературе утверждений относительно впадения «в состояние анабиоза» литературы в ближайшее время после Октября. Ничем не сдерживаемый «историк» обливает потоками клеветы литературу.

Оказывается, что «омертвление литературу вызывалось причинами порядка чисто психологического: психика деятелей литературы, особенно художественной литературы, в такой мере была потрясена пронесшимся революционным ураганом, что в значительной степени утратила способность, на время, конечно, к художественному творчеству».

Вместо классовой оценки той борьбы, которой буржуазно-дворянские писатели встретили Октябрьскую революцию, вместо указания на то, что сам пролетариат, занятый на фронтах, еще не успел создать больших писательских кадров — проблема поставлена на «психологическую» почву замазывания существа вопроса, замазывания классовой борьбы.

Ни богдановские теории о поэзии коллективного опыта, ни вредная роль воронщины, ни троцкизм в вопросах о пролетарском искусстве ни в какой степени в книге не раскрыты. Автор сам стоит на позициях Троцкого в ряде существенных положений. Это, естественно, не мешает ему держаться другой рукой и за формализм, заявляя, что в лице Эйхенбаума мы имеем «одного из авторитетнейших представителей современной научной «формализма».

Поэзия Клюева, Орешина, Есенина, впадебный классовый смысл которой очевиден, рассматривается как «поэзия народа», определяется, в полном согласии с Львовым-Рогачевским, в качестве «крестьянской поэзии», тем самым тщательно замазывается буржуазно-кулацкая сущность этих писателей.

Элементы буржуазного социологизма и попытки пользования марксистской терминологией могут обмануть и обманывают неопытного читателя в истинной сущности буржуазно-либеральных трактовок русской литературы и русского исторического процесса, представленных разбираемыми книгами. Разобранные авторы являются лишь наиболее характерными представителями довольно многочисленной фаланги «Евгеньевых-Рогачевских», до сих пор состоящих между собой в деле буржуазного извращения классовых основ литературного процесса. Только «гнилым либерализмом», наличествующим среди некоторой части работников наших издательств, можно объяснить их печатание и распространение.

МЕНШЕВИСТСКОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Известно, что Переверзев и его последователи всячески пропагандировали свое меньшевистское понимание литературы. Известно, что переверзевская методология одно время прочно проникла в программы и преподавание истории литературы в нашей высшей и средней школе. Но, не ограничиваясь этим, даже систему заочного обучения переверзевцы использовали для распространения своей антимарксистской, антиленинской литературоведческой концепции.

Для примера возьмем «Введение в изучение литературы», выпущенное Бюро заочного обучения при педфаке 2-го МГУ. Начинается оно с обзора марксистских работ о литературе. Здесь встречаются имена Беспалова и Лежнева, ссылка на Лелевича и на страницы из бухаринской «Теории исторического материализма». Но тщетно мы стали бы искать во всем «Введении» хоть малейшее упоминание о статьях Ленина о литературе. Впрочем, странного здесь ничего нет. Разумеется, знакомство учащихся с высказываниями Ленина — не в интересах составителей программ, твердо стоящих на антиленинских установках.

Зато в «Введении» широко использована маскировка ссылками на Плеханова. Однако чрезвычайно характерно, что именно берется у Плеханова — верные его или ошибочные, с точки зрения марксизма, положения. Ответ на это мы получаем на первых же страницах. Широко использовано неверное понимание Пле-

хановым искусства как игры, выдвижение как специфического признака антилитерарности искусства.

После обильных цитат из Бюхера игра (и искусство) определяется таким образом: «игра порождается стремлением снова испытать удовольствие, причиняемое употреблением в дело силы». Итак, удовольствие — вот основа искусства. Совершенно ясно, что таким образом заранее исключается понимание искусства как орудия классовой борьбы.

Действительно, на стр. 20, при определении художественной литературы в обществе классовом, мы видим, зачем понадобилось приведенное выше понимание искусства в обществе первобытном. Вот как определяет «Введение» художественную литературу: она «в первобытном обществе есть словесное образное отражение производственного процесса, нужное для упорядочения и облегчения работы, а в обществе классовом — словесное отражение производственных отношений, необходимое для организации класса и его психики».

Окончательно поставив таким образом все переверзевские точки над и, составители программы продолжают развивать свои положения. Недостаток места заставил авторов особенно сжато, ярко и обнаженно показать, куда ведут их утверждения, какой политический смысл имеют они. Доказать, что пролетарская литература (как и всякая другая) не может служить средством объективного познания действительности и уничтожить боевую идейную направленность литературы рабочего класса — вот задачи, стоящие перед «Введением».

Поэтому нас не удивит непрестанное повторение определения литературы как «служущей заодно и средством воплощения своего классового «я», и средством отмежевывания себя от других классов», как «словесного образного отражения производственных отношений, необходимого для организации класса в его бытии».

Всюду очень крепко подчеркнута невозможность познания ино-классового бытия как для писателя, так и для читателя, подчеркнута бессмысленность попыток изобразить образно чужое бытие, ибо оно «всегда будет бледным, несовершенным».

Как ясно видны здесь переверзевские корни литфронтовцев! Ведь это именно они вопили о ненужности «образно» показывать классового врага, срывать с него маску, этим самым объективно помогая классовому врагу, выбывая из рук пролетариата острое оружие классовой борьбы. И именно практика пролетарской литературы (например, Ставский в «Разбеге»), показывая кулака как он есть помогает рабочему классу и опрокидывает литфронтовско-переверзевские утверждения о том, что «классовость искусства только в том, что оно отражает классовое бытие».

Это саморазоблачение поистине великолепно. Авторы программ каждую минуту клянутся марксизмом, на каждой странице подчеркивая, что «искусство классового общества всегда отражает классовое бытие». Эта аксиома не так невинна, как кажется на первый взгляд. Подчеркивание генезиса понадобилось переверзевцам лишь для того, чтоб умолчать о функции литературы, о классовой борьбе. Меншевицское литературоведение выносит борьбу классов за пределы литературы. Общественные группы движутся во времени и пространстве, не сталкиваясь друг с другом, и занимаются самопознанием и самоорганизацией. История перестала существовать.

По мнению верных учеников Переверзева не может быть, разумеется, и речи о идейной направленности в литературе.

В свое время Беспалов, Гельфанд и Зонин утверждали, что они были с Переверзевым постольку, поскольку он бил формалистов и эклектиков. Оставляя в стороне лицемерность этого утверждения, нужно подчеркнуть то, как Переверзев «критиковал» врагов марксизма. В «Введении» истинная целеустремленность переверзевской критики обнажена достаточно откровенно. Будто бы критикуя «теорию экономического интереса», авторы направляют свои удары против всякого сознательного подчинения художником своего творчества интересам класса. Также, опровергая теорию факторов, переверзевцы отбрасывают всякую возможность связи политической борьбы и литературы, еще раз определяя последнюю как «своеобразное отражение объективного бытия», т. е. производственных отношений. Здесь на минуту авторы называют имя свое, приветствуя выступление Переверзева на конференции словесников.

Разумеется, говоря о желании попутчиков приблизиться к пролетариату, меньшевики от литературоведения заявляют, что «желание это, как бы высоко его ни оценивать, делу помочь не может. Объективную природу идеологий изменить нельзя». Они пытаются сорвать переход лучшей части интеллигенции на позиции пролетариата, превращение попутчиков в союзников.

Разумеется, меньшевики утверждают (понятно, трусливо) отсутствие пролетарской литературы, вытаскивая реакционное троцкистское определение «искусство — занятие мирное».

Мировой меньшевизм безуспешно пытается обезоружить рабочий класс, поставить его на колени перед буржуазией и тем спасти капитализм. Переверзев со своей школой попытался сделать это дело на литературоведческом фронте классовой борьбы. Попытка оказалась произведенной с негодными средствами, но разоблачение подобных попыток еще далеко не закончено, поскольку враг еще неоднократно будет хвататься за выбитое из его рук оружие.

Среди историков литературы нашего времени далеко не последнее место занимает И. Кубиков, работы которого «Классики русской литературы», «Рабочий класс в русской литературе», «Литературные очерки» и др. до сих пор рекомендуются программами рабфаков, школ взрослых, соцвоса, техникумов и т. д. как марксистские работы. На самом же деле эти книги пронизаны концепцией насквозь меньшевистской, оппортунистической.

И. Кубиков, старый меньшевик, вошедший в пооктябрьскую науку о литературе с вполне сложившимися меньшевистскими взглядами, не мог не превратить старые споры и теоретические разногласия с большевиками в самые непосредственные практические разногласия, используя фронт литературы. Известно, что практика не только не стирает наших разногласий с меньшевиками, а, напротив, обостряет их. Так случилось и с И. Кубиковым. Помимо разбора классиков его работы посвящены большей частью писателям эпохи расцвета меньшевистской идеологии (1903—1908 гг.) — Треневу, Вольнову, Бибику, Свирскому, Касаткину, А. Яковлеву, Бессалько, Р. Григорьеву, Анскому и другим.

Разбирая художественные произведения эпохи реакции (наиболее, очевидно, понятной автору), Кубиков нигде не указывает на самостоятельность пролетариата в буржуазном кризисе, не разоблачает измен либерализма, забывает о боевых длительных интересах пролетариата ради минутных настроений рабочих, «их положений и отношений». Главным образом экономические формы борьбы пролетариата находятся в поле зрения Кубикова (см. его разбор произведений Зарубина, Мамина, Анского и др.). Он вносит путаницу в сознание читателя, приравнивая к решительной победе открытые выступления еврейской молодежи (свобода собраний) в повестях Анского, рабочих в пьесе Горького «Враги» и др. Эти выступления не могли еще являться настоящей победой, для которой были необходимы не только экономические корни, но и политическая борьба в особенности. К политической же борьбе, изображенной в художественных произведениях (см. его разбор произведений М. Горького, Ляшко, Бессалько, Серафимовича, Гладкова и др.), он повертывается спиной, сужает значение ее размаха, принимает ее задачи. Разбирая, например, произведения Горького — «Мать», «Враги» и др., Кубиков останавливается, главным образом, на экономической борьбе рабочих, — героев этих произведений, указывая иногда на политический характер этой борьбы, большей же частью совсем не останавливаясь на политической стороне произведений, ограничиваясь рассуждениями о пейзажной живописи, композиции образов и т. п.

Очень путано и сбивчиво подводит Кубиков общественно-экономическую основу под художественные произведения, почти не говорит о борьбе за определенные завоевания пролетариата и совершенно оставляет в тени боевые задачи последнего. Если автор описывает промышленный центр, как например, Нефедов в своих очерках, то только потому, — заявляет Кубиков, — что быт населения этого центра «достойн большого художника».

Рассуждая о социалистах-утопистах 40—60-х гг., Кубиков не видит экономических условий, породивших эту группу, не видит классовой борьбы и значения протеста «разночинцев» как отражения крестьянской революции, затушевывая тем самым различие между реакционными и революционно-демократическими группами мелкой буржуазии, представленной им единым потоком в ходе русского исторического процесса. Он ни слова не говорит об экономических причинах, породивших, например, народнические тенденции творчества Г. Успенского. Совершенно не обусловлены им социальные корни творчества М. Горького на отдельных этапах его развития, Шмелева и других, не обосновано изменение классового состава интеллигенции, входящей в революционные партии на различных этапах ее истории (при разборе произведений Р. Григорьева), и т. д. и т. п. По Кубикову, не социально-экономические условия приводят пролетариат к мысли о второй революции (после 1905 г.), а кружковая работа, культурно-просветительные общества, главным образом, благодаря которым рабочие делались революционерами-практиками. С особенной теплотой и любовью останавливается он на героях произведений Р. Григорьева, Айзмана или Анского, культуртрегерах, на кризисе революционных переживаний (например, на переживаниях Берла из «Тернового куста» Айзмана, рабочих из произведений Р. Григорьева и проч.) И это характерно для меньшевика-историка литературы: в годы реакции, которые он освещает, меньшевизм видоизменялся в ликвидаторство, обнаруживая свое родство с либерализмом, отказываясь от борьбы за новую революцию в России, от нелегальной организации, от подполья, отучая рабочих от революционной борьбы. Недостатки романа А. Библика

«На черной полосе» Кубиков видит в том, что его герой «капитулирует перед исторически неизбежной в условиях того времени мелкой работой». И эту мелкую работу Кубиков возводит в революционную, по его мнению, теорию «маленьких дел», называемых им «сознательными началами», заостряет внимание на тех произведениях, в которых описывается легальная экономическая борьба в эпоху реакции, выделяет, например, произведения Анского, в которых проповедуется право «открытого проявления тех или иных симпатий». Он ставит в особую заслугу Анскому, что тот «правдиво» сумел показать громадное значение «биржи» (место собраний еврейских рабочих.—*Авт*) для воспитания рабочей молодежи... Различные политические фракции имели на «бирже» свои места. И это было настолько в порядке вещей, что полицейский останавливает какого-нибудь знакомого и говорит: «Ты чего, Мендель, сюда на чужую «биржу» залез? У вас своя «серовская» биржа есть, там и ходи. Порядок соблюдай!». Так умиляется критик идилической картине рабочего политического воспитания под защитой полицейских. С гордостью «партийца» констатирует он, что «рабочая партия» (нужно понимать меньшевиков) пользуется авторитетом у обывателей города, которые несут ее вождям свои житейские жалобы друг на друга. И даже больше: эта организация пользуется авторитетом хозяев-предпринимателей, обращающихся к ней для урегулирования вопроса со стачкой. «Так развернутое рабочее движение вовлекает в свое русло весь город», — торжествующе восклицает «критик», подчеркивая тенденцию Анского, а главным образом свою собственную, показать сотрудничество классов, согласно меньшевистским идеалам. И Кубиков нарочито выбирает такие произведения, которыми можно оправдать позиции меньшевиков, выдвигавших тогда лозунг использования легальных возможностей как самодовлеющую цель.

Даже беспробудное пьянство рабочих, описанное Г. Успенским с целью показать разлагающее влияние капитализма на крестьян («Власть земли», и др.), объясняется Кубиковым отсутствием «здоровых праздничных начал», а не социально-экономическими условиями, в которых находились рабочие. Культурная работа рассматривается им, главным образом, с точки зрения отвращения рабочих от пьянства, а не как революционное средство агитации и пропаганды. Кубиков задерживает внимание читателя на таких «социалистах», героях произведений, которые в культурно-просветительных кружках, в воскресных чтениях видят самодовлеющую цель и идеалом своим ставят просветительство (например, Черемисов из романа Станюковича «Без исхода»). Вместо того чтобы уделить внимание отражению контрреволюционного натиска буржуазии, Кубиков бесплодно, беззубо расхваливает социалистов-просветителей, не ставя определенно задач рабочего класса, не защищая их до конца, словом, вполне в духе оппортунистической политики социал-демократов. Классовую борьбу в литературе и вскрытие ее в художественных произведениях Кубиков обходит молчанием, подменяет показом тенденции художественной литературы к воцарению мира и любви на земле, мира и любви между рабочими и капиталистами. Он боится победы пролетариата, отпугивает рабочих от нее, игнорирует лозунги, зовущие к ней. Так, лозунг «Коммунистического манифеста»: «пролетариям нечего терять, кроме своих цепей» приводится им несколько раз, но в первой своей части — без указания на призыв к борьбе, к «приобретению целого мира». Терпение и кротость крепостных крестьян, бурлаков, еврейских ремесленников, горнозаводских и других рабочих показаны с точки зрения жаления их как несчастных и обездоленных, без стремления их к победе. В критике лучшего произведения С. Юшкевича «Еврей» нет классового вывода. «Во имя человечества должна жить рабочая молодежь» — вот идеал Кубикова; ему только грустно, например, при описании Маминным-Сибиряком встречи рабочими своего хозяина, при которой «десятка два катажных и доменных рабочих живо отпрягли лошадей и потащили дорожный экипаж на себе». Его не возмущают невыкорчеванные остатки рабского отношения к своим хозяевам.

В рассказе Серафимовича «Степные люди» Кубиков просмотрел основную мысль, которую можно извлечь из произведения, — эксплуатацию калмыков, обман, надутельство и всякие иные меры, свойственные «просвещенным» предпринимателям, применяющим свой капитал в некультурной степи среди кочевников. Кубиков все свел к проблеме психологических переживаний диких людей. Не мог уловить он классовых взаимоотношений и в рассказе «На льдине», зависимость самоеда Сорбки от кулака, сведя все к трагедии погибающего и передаче его переживаний. У самоедов, по мнению Кубикова, нет классов, нет эксплуатации, — есть «грагически сложившееся положение вещей». Политические задачи представителя соц.-демократии диктуют Кубикову стремление замазать классовые взаимоотношения на далеком Севере. И вся книга «Рабочий класс в русской литературе» не показывает роста революционного самосознания рабочего класса, перехода пролетариата из класса «в себе» в класс «для себя», не показывает социально-экономического

фона, на котором развивалось это самосознание, не вскрывает идеологию авторов, сквозь призму которой преломляется рабочее движение.

По-меньшевистски ставит Кубиков вопрос о взаимоотношении пролетариата и крестьянства, ни в одной из работ не упоминая о диктатуре пролетариата. Исследуя произведения эпохи буржуазно-демократической революции, он игнорирует ленинскую постановку вопроса о перерастании ее в пролетарскую, социалистическую революцию. Излагая содержание романа «Рыбаки» Григоровича, Кубиков останавливается на мысли автора-дворянина о разлагающем действии рабочего на крестьянина, но в то же время игнорирует ленинскую установку об организующем и воспитательном значении рабочих для крестьянства.

Особенно подчеркивается Кубиковым противоречие в мировоззрении рабочего и крестьянина, разрыв их идеологий. Это противоречие обосновывается критиком при разборе рассказа Ляшко «Льдинка на солнце», где это взаимное непонимание особенно углубляется. Крестьяне охвачены чисто личной корыстью при дележке помещичьего имущества. Недоверие и ненависть питают они к рабочему-односельчанину, упрекавшему их в этом, видевшему «полную невозможность внести дух творческого соиздания в жизнь деревни». Критик останавливается на том месте в рассказе Ляшко «Голубиное дыхание», где голодные рабочие вступают в борьбу с крестьянами, везущими в город хлеб, и где герой рассказа Алексей погибает при попытке примирить враждующих. Кубиков по-своему освещает это место, игнорируя ведущую роль пролетариата по отношению к крестьянству, и в этом вопросе лежит корень принципиального расхождения его, Кубикова, с марксистами. Плетясь в хвосте меньшевиков, Кубиков до сих пор (с 1905 г.) по-Плехановски ставит вопрос о классах, способных быть движущей силой русской революции, об основных условиях победы революции. Меньшевистская платформа Кубикова сказалась и в его оценке работы партии после 1905 г. В книге «Рабочий класс в русской литературе» он пишет: «Появилось стремление всецело уйти в себя и переоценить свое отношение к социализму и рабочему классу». «Во главе движения стояли интеллигенты, поражающие своей монолитностью, своей исключительной преданностью рабочему движению», — громогласно заявляет Кубиков, указывая, таким образом, на интеллигенцию как на единый поток передовой общественной мысли, как на основную движущую силу русской революции и в то же время оправдывая отступление основной ее массы (в период 1908—1911 гг.). Кубиков активно выступает против ленинского анализа движения пролетариата эпохи между двумя революциями, сознательно искажает политическую ситуацию момента, — отсюда рассмотрение литературы с точки зрения приглушения политических противоречий, отсюда оправдывание богоискательства, этой идеалистической философии, этой новой фракции в партии. Кубиков объясняет богоискательство крестьянским религиозным кризисом, квалифицирует это движение как «ценный дар, который вносили рабочие в широкое пролетарское движение» (см. его разбор «Врагов» Горького). Говоря красивые слова о движении революции вперед, Кубиков в сущности толкает ее назад. И хотя он пытается исходить из обоснования под'ема революции борьбой классов, но в то же время освещает такие способы действия пролетариата или отдельных групп его, которые указывают не на под'ем революции, а на ее упадок.

Итак, историко-литературный процесс представлен Кубиковым сквозь призму идеологии матерого меньшевика, рабочее движение — согласно программе и тактике «правого крыла социал-демократии». Вслед за Плехановым Кубиков заменит самостоятельную линию рабочего класса приспособлением последнего к либеральной буржуазии, нигде ни словом не обмолвляясь о политике большевиков в эпоху реакции.

Но, может быть, Кубиков внес ценный вклад в области отдельных проблем методологии литературы, может быть, его работы представляют теоретическую или иную ценность отдельными своими сторонами? И этого, разумеется, нет. Установившиеся взгляды историко-литературной школы берутся Кубиковым на-веру, без критического к ним отношения, применяются им при обосновании своих положений без каких-либо переоценок. Иногда, впрочем, им используются «новые» исследователи; так, творчество Гоголя разобрано им по Переверзеву. Кубиков исходит из двойственного начала в творчестве Гоголя, связанного с мелкопоместной средой. При разборе творчества Л. Толстого во многом использована работа Б. Эйхенбаума о Толстом. В заимствованиях у других исследователей наш историк литературы совершенно неприязнителен: Воронский и Воровский, Переверзев и Тынянов, Эйхенбаум и Войтовский, Горбачев и Троцкий, Котляревский и Неведомский, Айхенвальд и Гроссман, Плеханов и Фриче одинаково являются его авторитетами, одинаково рекомендуются им читателям.

Такой конгломерат «авторитетов» не мог не отразиться на позиции Кубикова. Художественные произведения рассматриваются им по-меньшевистски: с точки зрения быта (все произведения в кн. «Рабочий класс в русской литературе»), с точки

зрения красоты их (Свирский), с точки зрения биографического метода (Пушкин, Белинский, Некрасов, Нечаев и др.), с точки зрения биологизма (Наумов, родившийся с «протестующим началом»). Некрасов, по Кубикову, глубже и значительнее Никитина, — почему — объяснений нет. Г. Успенский «правильно» отображает жизнь, но с точки зрения идеологии какого класса — неизвестно. Мамин-Сибиряк — писатель значительный и правдивый, в то время как Решетников — никакого интереса не представляет, Белинский — либерал, эстет, созерцатель и д. т. и т. п. Такой беспринципной эклектикой кормит Кубиков учащихся и читателей, дезориентируя их, внося сумятицу в их сознание. Самое исследование произведений сводится им главным образом к пересказу их в меньшевистской интерпретации. Некритически воспринята Кубиковым и периодизация русской литературы по векам и десятилетиям с утверждением эпохи торгового капитала как отдельной общественной формации. Всего понемногу использовал Кубиков из затхлого наследия буржуазной науки. Марксистская методология осталась для него враждебна и непонятна. Классовые черты произведения рассматриваются им как «наслоение на творчество писателя», идеология которого игнорируется или квалифицируется совершенно произвольно.

Литературоведческая концепция Кубикова во многом смыкается с установками Воронского, являющегося для Кубикова наибольшим авторитетом. Тезис Воронского — искусство — познание жизни, иллюстрация ее — подводит Кубиковым под свои работы. Литературу он рассматривает как «средство познания нашего прошлого и настоящего», без учета действительного значения ее «как определенного фактора».

Художественные произведения представляют для Кубикова познавательный интерес, только тематический, но не классовый! Созерцательность — основной порок методологии Воронского — Кубиков кладет в основу своих работ. Исследуемых писателей он рассматривает с точки зрения их мирозерцания. Так Горький, по Кубикову, стремясь выйти из-под гнета узкомецанской среды, «находит успокоение в созерцании загородной природы, в звуках музыки и самое главное в чтении разнообразных книг». Этот мир книжных и музыкальных вымыслов. преклонение перед статической красотой природы и делают, по Кубикову, М. Горького романтиком.

Замазывая, искажая социально-экономические условия, в которых развивался талант Максима Горького, классовую идеологию художника, революционный подъем пролетариата (90 г.), Кубиков не мог найти социологического обоснования романтизма Горького, явившегося результатом неоформившихся революционных стремлений рабочего класса.

Созерцательность Кубикова не дает ему возможности рассматривать художественные произведения как действенный фактор.

«Любовь к человечеству», жаление страждущих — вот основной стержень, по Кубикову, по которому движутся единым потоком русские художники в с е х э п о х и к л а с с о в. Ко всем художникам-классикам относится он любовно, у всех склонен видеть больше положительных, «светлых» сторон. Ленинское понимание исторического процесса для него чуждо и непонятно.

Кубиков выдвигает и углубляет тезис Воронского об особой слабости пролетарской литературы, понимая, впрочем, под пролетарской литературой произведения с рабочей тематикой. «Будущий историк с великим изумлением остановится перед этим довольно любопытным явлением нашего времени», — с грустью восклицает он в 1928 г., когда пролетарская литература вышла уже из периода становления на путь подступа к гегемонии. «Писать о жизни несложившейся трудно», грустит вместе с Воронским Кубиков, не замечая образцов пролетарского творчества.

Меньшевистская клевета на советскую действительность прет из совета Кубикова учиться описывать быт рабочего у Г. Успенского, умевшего изучать скорбь крестьянства и городской бедноты. «Где тот пролетарский писатель, который взял бы цифры заработной платы, цифры рабочего бюджета, и, проверив эти цифры в самой действительности, художественно претворил бы их в горести и радости рабочей жизни? Такого пролетарского Гл. Успенского нет...» — горестно восклицает Кубиков в 1928 г., уже в эпоху реконструктивного периода, в эпоху творческого подъема рабочих масс, которые не только зависят от цифр, но и сами создают их. А в это время Кубиков призывает художников духовно гореть так, чтобы «ощущать на себе лохмотья бедняков» — сиречь рабочих...

Концепция историко-литературных работ Кубикова — это концепция буржуазного интеллигента-меньшевика, не уверенного в пролетариате как в гегемоне, отрывающего литературу от партийных задач класса. Оппортунистическая тенденция Кубикова в области исследования фактов литературы противостоит задачам пролетарской литературы — определить свои новые тактические задачи.

Кубиков подделывает меньшевизм под большевизм, эклектизм под диалектику, затуманивая сознание читателя кажущимся учитыванием всех сторон историче-

ского и литературного процесса, всех тенденций развития, противоречий и проч., на самом же деле не давая никакого цельного понимания в этой области.

Литературоведение Кубикова — не что иное, как классово враждебная меньшевистская вылазка, направленная против литературной практики пролетариата.

ТРОЦКИСТСКИЕ КОНТРАБАНДИСТЫ НА ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОМ ФРОНТЕ

Существует большое количество библиографических указателей, щедро раздающих эпитет марксистской критики самым разнообразным людям вплоть до откровенного идеалиста Воронского, фор-соца Арватова и соцфора (социолога-формалиста) Тальникова. Не желая загромождать наш обзор явными и давно разоблаченными идеалистами и формалистами вроде перечисленных, остановимся только на тех, кто до самого последнего времени пользовался марксистской репутацией в самых широких кругах, не имея на то однако никаких объективных данных. Таков в первую очередь ленинградский историк литературы Г. Е. Горбачев.

Его многочисленные историко-литературные книги («Современная русская литература», «Капитализм и русская литература» и др.), выдержавшие по три издания и имеющие хождение по всем школам Советского Союза в качестве учебных пособий, представляют собой прямую вылазку агентуры троцкизма в области литературоведения под прикрытием «объективной» литературной науки.

Тов. Сталин в письме в редакцию журнала «Пролетарская Революция» («О некоторых вопросах истории большевизма») говорит: «Троцкизм есть передовой отряд контрреволюционной буржуазии. Вот почему либерализм в отношении троцкизма, хотя бы и разбитого и замаскированного, есть головотяпство, граничащее с преступлением, изменой рабочему классу. Вот почему попытки некоторых «литераторов» и «историков» протащить контрабандой в нашу литературу замаскированный троцкистский хлам должны встречать со стороны большевиков решительный отпор».

Книги Георгия Горбачева представляют как раз такую троцкистскую контрабанду, фальсифицирующую марксистскую литературную науку с явной целью облить троцкистской грязью нашу партию, ее генеральную линию, наше социалистическое строительство, нашу действительность в целом.

Некоторые места книги «Современная русская литература» (вышедшей в 1931 году) по своему смыслу ничем не отличаются от контрреволюционных троцкистских листовок, так как дают типично троцкистскую оценку нашей действительности: «Буржуазная психология имеет корни не только в культурной традиции прошлого, но и в остатках капиталистических социальных отношений нашей жизни, каковы: неизбежное пока и довольно резкое пока неравенство в оплате труда, наличие частного капитала и частных интересов, индивидуалистический характер удовлетворения ряда общественных потребностей, невежество масс, общественная пассивность громадных групп населения. Поэтому буржуазные настроения проникают и в ряды и самых молодых; вышедших порой из пролетариата и даже входящих в ВКП(б) интеллигентов: врачей, юристов, инженеров, научных работников, писателей, артистов, администраторов (особенно окраинных) и т. д.» (стр. 75).

Двумя страницами далее Горбачев довершает свою мысль такой чудовищно-клеветнической характеристикой нашей эпохи, которая уже не оставляет никакого сомнения в том, что перед нами отъявленный враг социалистического наступления, проводимого под руководством большевистской партии, враг, представляющий ничем не прикрытую агентуру троцкизма в литературоведении.

«Развитию буржуазных настроений среди промежуточных групп сильнее всего, понятно, содействует влияние буржуазной и мелкобуржуазной экономики, далеко не переделанного быта, бюрократических извращений нашего государства. Эти буржуазные влияния не могут не усилиться в первые годы реконструктивного процесса в хозяйстве, когда темп роста государственной промышленности, определяющей в основном удельный вес социалистических элементов нашего хозяйства, замедляется по сравнению с окончившимся периодом восстановления производительных сил. Медленное и трудное в ближайшие годы развитие коллективистических начинаний в сельском хозяйстве не может пока парализовать отрицательных последствий дифференциации деревни и начинающегося относительного аграрного перенаселения». Чем, как не троцкистской вылазкой, направленной против генеральной линии партии, можно объяснить то, что это клеветническое утверждение о затухании нашей социалистической промышленности и замедлении темпов коллективизации появилось на страницах учебника в 1931 году, когда партия добилась небывалых успехов в деле социалистической реконструкции нашей промышленности; когда Советский Союз на глазах у всего мира развернул огромное строительство, когда свыше 60% крестьянства перешло на базу коллективизации, когда завершается построение фундамента социалистической экономики в нашей стране!

С типичными меньшевистскими мерками, противопоставляя себя целиком Ленину, но зато перефразируя, а часто и просто сочувственно цитируя Рафаила Григорьева — Горбачев подходит к оценке крупнейшего пролетарского писателя М. Горького:

«Мы причисляем Горького к интеллигентски демократической группе писателей...» («Совр. русск. литература», стр. 32).

Троцкист Горбачев не останавливается и перед прямой клеветой на М. Горького: «Горький по сути своего отношения к революционной борьбе в России был объективно ближе к меньшевикам, т. е. к левому социал-демократическому крылу буржуазной демократии» (там же).

Каким образом Горбачев пишет о Горьком в 31 году, в книге, выдерживающей 3-е издание?

Объясняя возвращение Горького к активно политической деятельности, которую ведет в настоящее время писатель, Горбачев по-своему, по-меньшевистски характеризует современную полосу нашего социалистического развития, окрашивая ее, по рецепту Троцкого, как действительность якобы термидорианского перерождения:

«Горький вновь становится нам близким и нужным», вразумительно разъясняет нам профессор Горбачев, для того, чтобы сгладить беспросветную темноту «наших дней, дней борьбы с безграмотностью, пьянством, самоуверенным невежеством, небрежностью в работе, грубостью быта, хамством и хулиганством, неумением делать практическое дело, неуважением к духовным и материальным ценностям, созданным работой многих поколений»... «Но надо помнить, что подход Горького к культуре никогда не был классово выдержанным» (там же, стр. 37).

В одном абзаце Горбачев таким образом ухитряется провести своеобразную борьбу на «два фронта».

Во-первых, он троцкистскими красками рисует нашу действительность, используя легальные возможности для того, чтобы обвинить ее в термидорианском перерождении, а, во-вторых, направляет удар на А. М. Горького, на глазах у всего мира, дающего пример лучшей пролетарской классовой сознательности, оказывающего активную помощь партии в деле социалистической переделки нашей страны, в деле реализации задач культурной революции, в деле пропаганды коммунизма во всем мире.

Чрезвычайно любопытно, что имя Ленина Горбачев употребляет только для маскировки. Он пишет буквально следующее:

«Удовлетворительны для марксистского сознания в качестве исходных точек дальнейшей работы характеристики идеологии Льва Толстого, данные Лениным, Андреевичем (!) и — как это ни покажется странным — Овсяннико-Куликовским (!!)

и характеристики целого ряда писателей, анализировавшихся Кранихфельдом (!!!). Это чудовищное сочетание имен и пренебрежение к Ленину поистине мог допустить только троцкист Горбачев, для которого ничего не стоит поставить рядом Ленина, махиста Андреевича, буржуазного профессора Овсяннико-Куликовского и буржуазно-либерального журналиста Кранихфельда («Капитализм и русская литература», стр. 108).

Троцкизм-меньшевизм Георгия Горбачева показывает свои уши отовсюду: им пронизано и понимание Горбачевым русского исторического процесса, и отношение к проблеме попутничества, и понимание всех других основных историко-литературных вопросов.

Большая часть литературно-критических работ Г. Горбачева носит характер историко-литературный и посвящена изучению русского литературного процесса в рамках XIX и XX вв. Естественно будет, касаясь методологии этих историко-литературных исследований, поставить в первую очередь вопрос о той исторической концепции, которой придерживался Горбачев в отношении изучаемых им периодов.

Не следует забывать хотя бы того, что В. Ф. Переверзев наиболее отчетливо обнаружил меньшевистский характер своих высказываний именно в части трактовок русского исторического процесса, заимствуя их у Плеханова и других меньшевиков.

Чем характеризуется меньшевистская концепция русского исторического процесса? И Г. Плеханов, и А. Мартынов, и П. Аксельрод заимствовали свою теорию происхождения русского государства у буржуазного историка С. Соловьева и помещика Б. Чичерина. Представителям старой науки нужно было замазать классовый характер крестьянской реформы, прикрыть классовый характер государственной власти, протащить апологично классового сотрудничества, и они это сделали, создав теорию внеклассового происхождения государства в целях обороны от кочевников (Соловьев) и теорию закрепощения всех сословий, в том числе и помещиков, для несения повинностей государству (Чичерин). Таким образом, государственная власть трактуется этими учеными как внеклассовая или надклассовая сила, двигающая вперед всю страну на основе сотрудничества всех классов

и всех сословий и их одинакового служения государству. Эту же мысль развивают и все меньшевики.

По Плеханову, «ход развития всякого данного общества» определяется не только борьбой классов, но и их «дружным сотрудничеством там, где заходит речь о защите страны от внешних нападений». В приведенной формулировке отчетливо заложено и будущее оборончество Плеханова, и его постоянное тяготение к союзу с либеральной буржуазией.

У народников раньше и Л. Троцкого позже та же самая теория государственной власти как надклассовой силы имела целью оправдать бланкистскую теорию захвата власти у первых и теорию перманентной революции у Троцкого, обнаруживая в обоих случаях игнорирование реальных сил борющихся классов (непонимание Троцким необходимости союза с крестьянством).

Как же выглядит историческая концепция Г. Горбачева?

Торговый капитал, «раздавив феодализм», создает в целях управления и защиты своих границ (оборонческая теория происхождения государственной власти) чисто дворянское правительство, закрепощая помещиков как «условных землевладельцев» (буржуазно-меньшевицкая теория закрепощения классов).

Так обнаруживается, что, исходя по видимости из материалистической классовой теории происхождения государственной власти, Горбачев решает ее механистически (власть торгового капитала), игнорируя ленинскую концепцию самодержавия как режима помещичьего, основанного на «гигантском землевладении крепостников-помещиков», приспособляющихся к требованиям сначала торгового, а затем промышленного капитала, но не теряющего из-за этого своих черт. В дальнейшем же Горбачев вовсе скатывается к плехановской и троцкистской идеалистической теории оборонческого характера государственной власти и теории закрепощения классов надклассовым по существу правительством.

Не лучше обстоит у Горбачева и со второй половиной XIX в. Не желая затягивать эту часть, остановимся только на оценке Горбачевым великих утопистов-социалистов. Пытаясь отпразднать от ленинской постановки вопроса, Горбачев опять-таки успокаивается на плехановской. Превращая Чернышевского и других народников в прямых деятелей буржуазной революции, Горбачев скатывается к согласию с клеветнической оценкой утопического социализма Достоевским, т. е. становится на ту точку зрения, которая прежде всего обнаружила меньшевицкий характер высказываний В. Ф. Переверзева, работу которого о Достоевском Горбачев, кстати сказать, считает «замечательной» (стр. 97).

«Достоевский, — пишет Горбачев, — действительно подвергся убийственной критике утопического социализма с точки зрения исторической и психологической диалектики».

Горбачев замазывает, что «убийственной» и «блестящей» критике можно подвергнуть утопический социализм, только стоя на позициях марксизма-ленинизма. И это замечание о том, что критика Достоевского бьет революцию не пролетарскую, а мелкобуржуазную, не оправдывает ни в малейшей степени возмутительного сваливания революционеров типа Чернышевского или Нечаева в одну кучу со Смердяковым, отразившим, как в зеркале, по выражению Горбачева, «подлинную морду» кулацких и капиталистических героев «эпохи бурного первоначального накопления».

Для того чтобы покончить с историческими взглядами Горбачева, следует все же остановиться на его определении попутничества, ибо и здесь отчетливо сказываются политические корни исторических воззрений Горбачева.

В статье «Л. Троцкий как литературный критик и проблемы пролетарской литературы», в статье, в которой мы встречаем характернейшие авторские признания зависимости многих своих литературных взглядов от Троцкого, Горбачев пишет:

«Нужно отметить как одну из крупнейших заслуг книги Л. Троцкого правильную в общем постановку им вопроса о «мужиковствующих», по его формулировке, писателях. Мысль т. Троцкого заключается в утверждении, что, поскольку у нас долгое время будет существовать два класса — пролетариат и крестьянство, — будет существовать между двумя этими классами и интеллигенция, сохраняющая некоторую самостоятельность в своих колебаниях между ними».

В приведенной — «правильной», по Горбачеву, «постановке вопроса» заключается типичная для Троцкого оценка крестьянства как одноклассовой, антисоциалистической группы, искажение роли крестьянства в капиталистическом обществе и в условиях диктатуры пролетариата, замазывание того, что между капиталистическими классами и пролетариатом колеблется интеллигенция, а не между пролетариатом и крестьянством.

Выясняя причину усиления буржуазных влияний в литературе к началу реконструктивного периода, Горбачев полностью становится на позиции троцкистской

теории «з а т у х а н и я» государственной промышленности, т. е. теории, сближающей «левого» Троцкого с наиболее откровенными посылками правого оппортунизма.

Так и в исторических и в политических взглядах встает перед нами Горбачев как откровенный контрабандист системы троцкистских взглядов. Таков же Горбачев и в своих литературоведческих установках, будучи, как и Троцкий, типичным буржуазным эклектиком-идеалистом.

Общей со всеми другими эклектиками чертой является для Г. Горбачева разрыв в формах и содержания, непонимание их единства. Почти вся книга Горбачева «Капитализм и русская литература» построена на анализе «содержания», понятого к тому же чрезвычайно упрощенно (зачастую в порядке простого изложения тематики), и оторванным формалистском анализе стилистики.

Так, отвечая на вопрос, почему не только буржуазная интеллигенция, но и революционная литературно-квалифицированная среда долго не признавала Д. Бедного «настоящим» поэтом, Горбачев основное объяснение видит в том, что «Д. Бедный писал пренебрежительно в... «запретной», «низкой» манере, «литературно не воспринимавшейся» после Бальмонта, Брюсова, Блока»¹.

Явно чувствуя, что он таким объяснением «обеими ногами попадает в формалистское болото», Горбачев пытается спасти дело кавычками, но этим только обличает отсутствие теоретического мужества.

Не спасают кавычки Горбачева и тогда, когда он пытается говорить о «чисто литературном» значении Демьяна Бедного как поэта, видя это значение в том, что Демьян Бедный снова взвел на высоты поэзии басню, пародию, сатиру и т. д., а также политическую оду, что он сблизил газету и «настоящую» поэзию, что он подлинно демократизировал язык поэзии и ввел в него «жаргон» публицистики, митинга, газетной хроники»². Приведенное высказывание слово в слово повторяет то, что писал любезный Горбачеву Б. Эйхенбаум о поэзии Некрасова. В конечном счете мы имеем у Горбачева совершенно формалистское представление о формировании классовых стилей, где идейный вымысел писателя сводится фактически к нулю, ибо идеологию создает сам «материал», а «идеологические недостатки» относятся за счет «деформирующей силы выбранного жанра».

Герои в этой странной системе «живут по законам жанра» (стр. 52), а «образ создается в значительной мере стилем и композицией, по которым он, этот «литературный герой», живет (стр. 41). Словом, «законов» у «литературного героя» оказывается столько, что его «жизнь» по Горбачеву превращается в настоящую авантюрную поэму, в которой выветриваются и последние следы идеологии, допущенной Горбачевым для прилику, в виде «идейного замысла» автора.

Полную свою формулировку находит методология Горбачева в следующей фразе: «Один и тот же материал у разных писателей облекается в самые разные «формы» стиля, композиции, образов, эмоционально-идеологической окраски и т. д. При этом жанр и идеология, сливаясь в художественное единство с тематикой, материалом, изменяют, деформируют, «искажают», делают иным по действию на читателя жизненный материал. Но и материал, сам деформируясь, деформирует жанры и «замыслы», устремления автора. Материал, идеология и стиль образуют единство во взаимодействии и в социально-эстетическом эффекте произведения. Этот эффект или потенция этого эффекта в разной среде и есть «идея» произведения».

Итак, идеология ставится Горбачевым на одну доску с «материалом», «стилем» (в его формалистском понимании стиля), «композицией», «жанром» и т. д. Очевидно, что подобным толкованием сводится на-нет самое значение идеологии. Там же, где Горбачев пытается объяснить «форму» социологически, он скатывается на позиции вульгарного материализма.

Так, совершенно по-переверзевски, повторяет Горбачев механистическое выведение композиции произведений усадебных художников из медленного, неподвижного уклада поместного быта.

«Четкие, замкнутые в строгие формы» стихи В. Брюсова, «веские и многозначительные слова», язык довольно скупой и сжатый «отражает, по мнению Горбачева, лучшие черты его предков, деловых, расчетливых, активных буржуа, выбившихся из рабского состояния энергией, упорством, самоограничением».

Не случайно после этого ссылается Горбачев на работу В. Ф. Переверзева о Достоевском, называя ее «замечательной». «Поправляя» Переверзева, с точки зрения левовской теории «социального заказа», Горбачев полностью становится на позиции столь игнорируемого им И. И. Юффе, заявляя, что литературное произведение вне его читательского восприятия — лишь «груда испорченной знаками бумаги».

¹ «Современная русская литература», стр. 51.

² Там же, стр. 52.

Однако и этой релятивистской установкой не исчерпывается все «богатство» горбачевской методологии.

По Горбачеву, оказывается, что «основное содержание художественного творчества Толстого заключается в изображении глубочайших корней и детальнейших проявлений тех душевных переживаний, которые можно признать общечеловеческими для почти всего классового общества, что в «Анне Карениной» было гениально изображено общечеловеческое, родовое, физиологическое, то, что остается неизменным во многие совершенно различные эпохи жизни человечества», что Толстым изображается главным образом не историческое, а психо-физиологическое, «психология возраста, пола, болезни, трудовых процессов, половых переживаний, абстрагированных от социальной обстановки».

Обходя оценки Горбачевым ряда других писателей прошлого, остановимся только на его отношении к Горькому. Соглашаясь, по видимости, с Лениным в том, что «Горький порой настолько правильно выражал идейные стремления пролетариата в художественно-литературной форме», что «некоторые произведения Горького могут считаться пролетарскими», Горбачев своей общей оценкой Горького превращает это согласие в клеветническое политиканство, ибо с приведенным только что определением никак не уживается утверждение, что Горький — человек, не связанный с пролетариатом, тесно связанный с буржуазной интеллигенцией, под конец своей жизни не смог, по существу, пойти дальше буржуазно-демократической революционности, что «Горький, по сути своего отношения к революционной борьбе в России, был и остался меньшевиком, занимая нейтральную позицию «благожелательного непонимания», неизбежно приводящую порою снова близко к лагерю врагов коммунизма и новой российской общественности».

«Конечно, — пишет Горбачев, — писатели-реалисты десятых годов по происхождению, воспитанию, по культурной традиции принадлежат не к одной общественной группе. Но все эти писатели близки по общему мировоззрению и подходу к жизни. Между ними нельзя провести резкой классовой грани ни по их литературной манере, ни по политическим симпатиям, ни по мироощущению. Никакой идеологической или художественной борьбы внутри реализма десятых годов по линии классового происхождения его представителей не было».

Вся чудовищность подобного утверждения, в котором Горбачев тщательно замазывает классовый характер литературы, вскрыется еще больше, если перечислить, каких именно художников включает Горбачев в «единую группу», реализма, внутри которого будто бы нет классовой борьбы и размежевания. Горький, Куприн, Бунин, Арцыбашев, Замятин, А. Толстой, Шмелев, Тренев и т. д. — таковы представители этой «единой» группы; если же к ней прибавить еще акмеистов, которых Горбачев считает представителями «возрождения реализма в поэзии» (там же, стр. 15), то картина будет полной. В «единой» классовой группе оказываются и поместный писатель Бунин, и представители городской буржуазии, и мелкобуржуазной интеллигенции, а Максим Горький «мирно» уживается рядом с акмеистами — этими бардами империалистических классов.

Давая общий очерк новобуржуазной литературы, Горбачев, по существу, становится на буржуазные позиции, считая, что представители старых классов, неспособные приноровиться к новым условиям, усвоить новую, хотя бы и буржуазную, но совершенно своеобразную «советски-буржуазную» психологию, «обречены на вырождение и гибель».

Отрицание возможности создания в литературе новобуржуазного героя ведет к известной защите Горбачевым клеветнического новобуржуазного по идеологии романа Грабаря. Недооценка опасностей буржуазной идеологии сказывается и в горбачевском отношении Клюева и Клычкова к мелкобуржуазной литературе. Эту недооценку не снимает полностью оговорка о том, что названные писатели «связаны с близкой к кулачеству частью крестьянства» (там же, стр. 111).

Так, недооценивая враждебного нам классового содержания одних писателей, Горбачев левачки отталкивает в буржуазный лагерь некоторых других мелкобуржуазных попутчиков, хотя бы и частично, в лагерь литературы новобуржуазной, как он это сделал с М. Слонимским, Мариэттой Шагинян, М. Зощенко.

Вскрывать до конца существо творческих лозунгов и «позиций» Горбачева как руководящей фигуры бывшего «литфронта» можно лишь проанализировав те конкретные произведения, на которые ссылаются «литфронтовцы», и противопоставив их трактовкам другие. В плане настоящей работы достаточно будет указать, что «творческие» взгляды Горбачева вытекают из его литературно-политических и методологических установок. Для Горбачева, который сближается с теоретиками «Лефа» по линии «плодотворного» использования формального метода, характерно сближение с «Лефом» и по ряду творческих вопросов. Переоценка степени овла-

дения пролетарской литературой творческим методом диалектического материализма, провозглашение в качестве писателей наиболее к этому методу приближающихся тт. Маяковского, Вишневского, Кина, Эрдберга и др. (т. е. как раз товарищей, страдающих наибольшими остатками схематизма и романтизма), провозглашение лозунгов «левой» федерации и вместе с тем заущение ряда левых попутчиков, пренебрежительное отношение к проблеме перевода основной массы попутчиков на рельсы пролетарской идеологии, выдвижение лозунгов «начисто положительного» и «начисто отрицательного», «публицистического» отношения к действительности, подмена проблемы творческого метода формалистской теорией смены жанров, обвинение основного творческого ядра РАПП в бюрократическом или правооппортунистическом перерождении (Фадеев, Либединский, Чумандрин и др.), — все это свидетельствует о явных остатках пролеткультовско-богдановских теорий в воззрениях Горбачева. Ничего странного нет после этого в том, что именно на основе общих им обоим неизжитых пролеткультовских установок слились группы Горбачева и Беспалова в единый литературно-политический и творческий блок, снимая свои вчерашние «разногласия» и выступая с одними обвинениями против линии партии, проводимой РАПП. Если же сопоставить еще взгляды б. переверзевца и нынешнего меньшевистствующего идеалиста Беспалова с формалистскими и воронскими взглядами Горбачева, то «странность» в сближении составных частей право-«левого» блока, представляемого в литературе б. «литфронт», еще более уменьшится.

Необходимо решительно поставить вопрос о партийной ответственности соратников Горбачева по бышему «литфронту», прикрывавших меньшевистские высказывания Беспалова, Зонина и др., с одной стороны, и откровенную троцкистскую контрабанду — с другой.

ЛИТФРОНТОВОЕ ОХВОСТЬЕ В РОЛИ ЛИТЕРАТУРОВЕДА

Появившийся недавно на книжном рынке «Краткий очерк современной русской литературы» М. Майзеля должен привлечь наше внимание как новая антиленинская вылазка представителя горбачевской школы на фронте литературоведения.

М. Майзель ставит задачей синтетическое обозрение всех главнейших этапов литературного развития за последние 20—25 лет.

Потребность в такого рода работе, на первое время хотя бы и краткой, очевидна. Посмотрим, однако, в какой мере «Очерк» справляется с поставленной задачей.

Первый раздел книги («Накануне Октября») совсем не отвечает методологическому намерению автора освещать литературный процесс «под углом зрения борьбы различных классовых идеологий».

М. Майзель уклоняется от анализа литературной продукции предоктябрьской эпохи и подменяет его наспех собранным материалом о милитаристических настроениях писателей: Ф. Сологуба, В. Брюсова, Г. Иванова, С. Городецкого, Н. Гумилева и др.

Последние (настроения) раскрываются на основе дневников, мемуаров, эпистолярных источников и лишь изредка извлекаются из произведений буржуазно-дворянских эпигонов русской литературы.

Эстетское сердце побеждает «марксистский» разум раздвоенного критика, и милитаристические стихи Гумилева находят у Майзеля вполне «достойную» оценку: «...Формальная их ценность была на много выше всей остальной военной поэзии. Реакционная идея подымается поэтом на такую художественную высоту, которая была незнакома рептилиям из «Лукоморья» и «Войны» (стр. 11).

«Марксистствующий» критик непрочь, таким образом, дифференцировать империалистскую литературу и в другом плане, эстетско-формалистском, чтобы выделить корифеев литературы от пресмыкающихся рептилий.

Впрочем, Майзель формализмом грешит не в порядке забывчивости: генезис акмеизма он выводит целиком по формалистскому рецепту (см. «Русская Мысль» № 12, 1916 г., Жирмунский, «Преодоление символизма»). Майзель пишет: «В виде реакции на поэзию символистов незадолго до войны возникает новое литературное направление — акмеизм...».

Борьба классовых идеологий в стиле подменяется борьбой стилей без классовых идеологий. Не все ли равно?

Разоблачая патристически-швиннистическую литературу эпохи империалистической войны, М. Майзель непрочь сообщить читателю некоторые пикантные подробности вроде того, что Л. Андреев выработывал «без усилия» в газете «Русская Воля» 40—50 тыс. довоенных рублей, освещает развитие лубочной патристической литературы и т. п.

Таким образом, первая глава книги не вскрывает подлинного процесса литературного распада предреволюционной поры, скользит по верхам, не устанавливает

подлинного социально-классового генезиса стилевых фактов. Напрасно мы будем искать выпрямления методологической линии в последующих разделах «Очерка».

Литература эпохи военного коммунизма, процессы идейно-творческой дифференциации писательства этой поры даны на основе документации, привлекаемой обычно исследователем литературы в качестве подсобного, а не основного материала. Непомерно большое место уделено журналистике 1919—1922 гг. и в частности «Запискам мечтателей», где в это время Андрей Белый обрушивался на «тиранию» марксизма и «чрезвычайек» и проповедывал штейнерианскую философию индивидуализма.

Автор «Очерка» отказался от разоблачения полной художественной никчемности пасквильных произведений Е. Замятина. О рассказе «Пещера» говорится, например: «И впрямь можно поверить, что с Октябрьской революцией кончилась культурная история человечества, что вновь торжествует дикий и ветхий Адам» (стр. 30).

«Разъяснение» Майзеля по этому поводу («делая обобщение на основании наблюдаемых частных случаев, автор совершил коренную ошибку») далеко не раскрывает истинной причины реакционной идеологии Замятина, так как ключ ее возводится не к идеологии буржуазного класса, активно сопротивляющегося революции, а к внешне-эмпирическому творческому моменту. Дело не в том, чтобы указать на «обобщение частных случаев», дело в раскрытии закономерностей, обусловивших идейно-классовые позиции, толкающие писателя на путь такого рода «обобщений».

Раскрытию реакционной литературы В. Розанова М. Майзель предпочитает изложение «Апокалипсиса нашего времени», где Розанов, как и А. Белый, сетует на голод и «чрезвычайки».

Аналогичная операция продельвается и с Вл. Лидиным. Автор «Очерка» высказывает следующий взгляд на «распад старой интеллигенции в эпоху военного коммунизма. «Материальные лишения, соединенные с сознанием моральной обреченности, оторванности от целительного для художника потока живой жизни, обусловили идейный распад, приведший в эти годы основную массу дореволюционной интеллигенции к длительному кризису» (стр. 56).

У критика не хватило элементарной силы противодействия, которая необходима при чтении мемуарной литературы даже рядовому читателю.

Это помешало М. Майзелю рассмотреть «под углом зрения борьбы различных классовых идеологий», как было провозглашено в предисловии, подлинную дифференциацию интеллигенции в эпоху военного коммунизма. Часть последней и тогда пошла за коммунизмом, переборов вместе с пролетариатом голод и лишения. Причину же идейного распада буржуазно-дворянской интеллигентской верхушки было бы наивным искать только в материальных лишениях. Достаточно в этом смысле вспомнить В. Брюсова, присоединившегося в эти годы к революции.

М. Майзель последователен в своем ученичестве у Горбачева. Поэзию Клюева и Есенина он называет «крестьянствующей литературой», перефразировав известное выражение Троцкого «мужиковствующие», примененное к отдельным попутчикам. Клюев и Есенин до 1918 г., по Майзелю, выражают настроения «всего крестьянства». Это происходит потому, что Майзель (несмотря на обильное цитирование непонятого им. В. И. Ленина) исходит из троцкистской клеветы, будто бы главным на первом этапе Октябрьской революции является не свержение власти буржуазии и переход власти в руки пролетариата, а доведение до конца буржуазной революции.

Вот почему Майзель доходит до возможности делать вывод, что «при такого рода политике советской власти в отношении крестьянства первоначальные революционные настроения Клюева и в еще большей степени Есенина находились в полном соответствии с насущными, жизненными интересами их класса».

К месту будет напомнить разъяснение т. Сталина, что «противопоставлять поддержку крестьянства в целом в Октябре и после Октября факту подготовки Октября под лозунгом диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства — значит ничего не понять в ленинизме».

Майзель ничего не понимает в ленинизме, замазывая социалистический характер Октябрьской революции.

Буржуазно-кулацкий характер творчества Клюева, Есенина, Клычкова замазывался в нашей критике долгие годы, и причина этого — троцкизм и воронщина, боровшиеся с марксистской литературной критикой.

Тем более вредным является после поучительной борьбы с Вяч. Полонским топтание на троцкистских по существу позициях (см. статью о Клюеве в «Литературе и революции»).

Литературу эпохи хозяйственного восстановления и реконструктивного периода М. Майзель не смог синтетически показать, наметив хотя бы приблизительно основные закономерности ее развития. Совершенно недопустимым в этом смысле является отсутствие в «Очерке» главы о крестьянской (пролетарско-колхозной) литерату-

ре, давшей десятки имен (Карпов, Замойский, Дорогойченко, Дюбин, Пермитин, Никитин, Горбунов, Кочин и др.).

При непропорционально большому вниманию к отдельным попутчикам (Бабель, Пильняк) и необуржуазным писателям (И. Эренбург) в «Очерке» совершенно не осталось места для учета таких крупных явлений перестраивающейся попутнической литературы, как «Соть» Л. Леонова. Только какие-то «особые» причины, выходящие за пределы объективного литературного исследования, могли продиктовать также полное умолчание о творчестве М. Чумандрина.

Впрочем, было бы совершенно ошибочным здесь упоминать об исследовании. Работа М. Майзеля далека от каких бы то ни было попыток создать самостоятельное критическое обобщение опыта современной литературы.

Она преисполнена ссылок на Горбачева, В. Полонского, без должного теоретического преодоления излагает взгляды по отдельным вопросам Л. Троцкого и А. Воронского. Попытки собственного научного «становления» не выходят за пределы некритически усвоенного Плеханова.

Наконец, совершенно курьезно в «Очерке» разрешается судьба творческого метода пролетарской литературы. Если недавно в нашей литературной полемике совершенно законно фигурировал термин «раздраженный эклектизм», то в отношении М. Майзеля его уместно было бы перефразировать: «растерянный эклектизм».

На стр. 70 «Очерка» о Ю. Либединском говорится, что последний «придает своим героям живые черты лица и анализирует их внутренний мир и поступки со стороны не только психологии, но и социальной обусловленности. Этот художественный метод не мог не дать самых благотворных результатов».

Четырьмя страницами дальше, в главе о А. Фадееве «Разгром», выступает как результат творческой борьбы «за развернутое психологически-реалистическое изображение действительности на основе классового анализа характера и явлений. Лозунг психологического реализма в данном месте оценивается как «переход пролетарской литературы на высшую ступень, соответствовавшую эстетическим и идеологическим потребностям успешно завершившегося периода хозяйственного восстановления».

Однако Майзель не долго держится такого рода творческих «воззрений». В главе о творческом методе (стр. 185) констатируется, что психологический реализм «на деле привел к бездейственной психологизации, пассивно-созерцательному отношению к действительности» и т. д. и т. п.

В патетических тонах Майзель разбирает «Выстрел» Безыменского, объявляя его «отличным образцом публицистической, целеустремленной, насквозь динамичной поэзии».

Не вдаваясь в рассмотрение вопросов творческого метода, отметим эти внезапные повороты курса на 180°.

Впрочем, они обусловлены. Автор «Очерка» — литфронтовец — отразил в своей работе сущность теоретических установок «литфронта». Поверхностное хождение по литературным нивам, стремление замазать в литературном факте общественно-классовые закономерности рядом с бравурной претензией Майзеля на «публицистичность» идут вразрез с революционной, подлинной публицистичностью Ленина—Маркса. Будучи учеником и соратником Горбачева в литературоведении и литературной политике, Майзель, как мы это видели выше, скатывается на троцкистские позиции и в прямых политических высказываниях (ср. также отрицание буржуазной опасности и провозглашение контрреволюционной буржуазии — «советской», «пассивной» и т. д.).

«Очерк современной литературы» М. Майзеля следует рассматривать как классово враждебную вылазку, содержащую яростные нападки на ленинское литературоведение и троцкистски клеветующую на пролетарскую литературу.

БУРЖУАЗНАЯ ВЕРМИШЕЛЬ ПОД ФЛАГОМ МАРКСИЗМА

Девять изданий, 150 тысяч экземпляров — таково распространение книги Назаренко «История русской литературы XIX века». Сотни тысяч учащихся пользуются этим «пособием», принимая его за марксистский учебник. Между тем ни грана марксизма этот учебник в себе не заключает.

«Груд» Назаренко по-своему «оригинален». Это — пестрый монтаж высказываний различных буржуазных и меньшевистских ученых. Переписывая эти высказывания, Назаренко всячески пытается замести следы. Он поясняет: «Дабы не за-

труднять учащихся многочисленными мнениями и избежать некоторой пестроты, я не всегда пользуюсь кавычками и сносками». Последнее 9-е издание (выпущено ГИХЛ в 1931 г.), как сообщается в предисловии, подверглось «фундаментальной переделке». Примером этой «фундаментальной переделки» может служить глава о Гоголе. Раньше она пестрела неоднократными ссылками на Переверзева. Было, например, прямо указано, что «характеристики героев взяты из работы В. Ф. Переверзева». Теперь сносок нет. Нет, в частности, и указанного примечания. Но характеристики остались прежними. Выброшены только отдельные слова и выражения, приобретшие «опасную» известность. Такова ловкость рук Назаренко. Так усыпляет он бдительность читателя, так маскирует он протаскивание меньшевистской концепции Переверзева и других враждебных марксизму-ленинизму теорий.

В свое время Кубиков изобличал Назаренко в литературном хищничестве. Отвечая ему, Назаренко писал: «Художник-писатель или критик, а также ученый или педагог находятся среди огромнейшей массы разнообразных материалов, однако «заимствуют» они только то, что совпадает с их воззрениями». Замечательное признание! Переписывая высказывания Кубикова, Когана, Сакулина, Аксельрод, Соловьева, Амфитеатрова, Горбачева, Переверзева, Л. Гроссмана, Горбова, член партии Назаренко заявляет, что его воззрения совпадают с воззрениями этих буржуазных ученых, меньшевиков и троцкистов. Он превращает свой учебник в рупор буржуазной идеологии на литературном фронте.

К 9-му изданию Назаренко заново написал предисловие. Вряд ли можно уместить на двух страничках больше путаных, ошибочных, враждебных марксизму-ленинизму положений. Здесь развивается переверзевское понимание системы образов, стиля и т. д. Здесь ставится знак равенства между художниками всех классов в смысле их возможностей познавать объективную действительность. Считаю, что литература должна изучаться лишь «в связи» с классовой борьбой, Назаренко договаривается до того, что «необходимо изучать творчество класса, а не класс по творчеству».

Далее намечается схема истории литературы XIX в. Эта схема извращает историю классовой борьбы в России, дает антимарксистское, антиленинское построение истории литературы. По этой схеме дворянские писатели берутся совершенно изолированно от буржуазных. Если Карамзин, Жуковский, Гоголь отнесены к писателям реакционно-крепостнического дворянства, то Пушкин и Лермонтов отнесены к либерально-буржуазным писателям, Булгарин, Загоскин — к буржуазным, Полевой — к мелкобуржуазным. Толстой оказывается на одной доске с Фетом и Тютчевым. Андреев, Сологуб, Арцыбашев, Клюев, Есенин, Короленко, Горький, Вересаев, Серафимович, Ляшко и Демьян Бедный объединяются в одну группировку мелкобуржуазных писателей! Такова схемка!

Разумеется, в ней ни слова нет о борьбе двух путей развития капитализма в России. Это учение Ленина о двух путях, на основе которого только и можно строить марксистско-ленинскую историю русской литературы, совершенно игнорируется Назаренко на протяжении всей книги: и в освещении исторических процессов и при анализе творчества отдельных писателей. Лишь в одном месте Назаренко пишет: «Здесь уместно (!—*Авт.*) напомнить (!—*Авт.*) ленинское учение о прусском и американском путях развития капитализма». Но это «уместное напоминание» остается неуместным аллилуйя, никак не связанным со всей книгой, которая исходит из враждебного ленинизму либерально-буржуазного понимания русского исторического процесса.

К творчеству отдельных писателей Назаренко подходит не с марксистско-ленинских позиций, а с позиций различных буржуазных ученых, труды которых он рабски переписывает. Буржуазный социологизм, реакционно-идеалистические взгляды, необычайная беспринципность, развращающая и пошлая обывательщина заполняют страницы книги. О Фонвизине, например, мы узнаем только, что он «для своего времени был также либералом» и «являлся блестящим представителем дидактической струи классического стиля»; Рылеев «скорбит о народе» и «протестует против гнета и насилия», и т. д. Какова классовая идеология писателя, интересы какого класса он защищает — неизвестно.

Особенности творчества Баратынского Назаренко рассматривает как результат исключения поэта из пажеского корпуса за кражу. Воздействие Байрона на Пушкина, оказывается, «несомненно зародилось под влиянием тропической (!—*Авт.*) природы юга (!—*Авт.*)». По признаку «реалистического направления» Назаренко объединяет в одну группу и реакционных дворянско-буржуазных писателей (Бунин, Сергеев-Ценский, Куприн) и пролетарских писателей (Горький, Серафимович, Ляшко), которые, оказывается, «неровными, неуверенными шагами шли... к пролетариату и крестьянству». По существу здесь Назаренко отрицает пролетарскую литературу и в полном согласии с троцкистом Горбачевым рассматривает пролетарских писателей как буржуазно-демократических.

Назаренко открыто становится на меньшевистские позиции противопоставления литературы и классовой идеологии, художника и политика. Как счастливую случайность он, например, отмечает, что «байронические поэмы Пушкина совпадают с его тогдашним политическим мировоззрением». Обычно же у Пушкина проявляется «характерная для поэта двойственность». Пушкин как идеолог находится в резком противоречии с Пушкиным как художником. У Гоголя тоже классовая природа писателя и его сатирический талант противопостоят как равноценные силы.

Немудрено, что Бунин у Назаренко оказывается одиночкой, не связанной ни с каким классом. «Прежде чем стать эмигрантом Бунин давно уже был изгнанником на родине. Он шел особняком от людей — холодный, равнодушный, и его слова никого не увлекали, никому не были нужны». Немудрено, что эволюция Бальмонта объясняется так: «идеологический груз бальмонтовской поэзии незначителен: поэтому ему было так легко свои восторженные гимны рабочим и труду 1905 г. при наступлении реакции быстро переключить на другой лад; нечто подобное произошло с поэтом и в 1917 г.: гимны революции, сложенные в советской России, когда он очутился за границей, быстро заменились проклятьем и клеветой против Страны советов».

Показательна для антимарксистских, антиленинских позиций Назаренко глава о Толстом. Старательно пересказывая высказывания Аксельрод, Когана, Сакулина, Андреевича и других «классиков марксизма», Назаренко столь же старательно обходит Ленина. Правда, в конце главы он приводит две цитаты Ленина, но вся глава резко противоречит ленинской оценке Толстого. Назаренко ни слова не говорит о «кричащих противоречиях» (Ленин) Толстого, о выражении им «тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России» (Ленин). Назаренко усиленно подчеркивает, что «помещичье-барская» идеология Толстого оставалась «стройной» и «цельной» «до конца жизни». В то же время Назаренко старательно повторяет высказывания буржуазных ученых о том, что общебиологические проблемы, физиология являются основной сущностью творчества Толстого.

Нередко наш «марксист» откровенно становится на «общечеловеческую» точку зрения. Так, он видит ценность Пушкина в том, что писатель «создает крупнейшие общечеловеческие образцы страстей». (Не потому ли Назаренко дает лозунг «назад к Пушкину»?) «Анализируя» творчество Тютчева, Назаренко пишет: «Осень бывает в жизни каждого человека, к какому бы классу он ни принадлежал. И хотя у него осеннее настроение будет иметь своеобразную, не тютчевскую окраску, но нечто общее с тютчевским настроением тут все-таки будет».

По поводу одного из стихотворений Тютчева Назаренко говорит: «Но понятен и общечеловеческий элемент, здесь имеющийся: периоды отупения, зачерствелости, «мертвенности души» знакомы всякому, и прав поэт: они ужаснее самого страдания». Выступая 17 декабря 1931 г. в ЛИЯ ЛОКА Назаренко не только не подверг критике эти свои реакционно-буржуазные взгляды, но наоборот, развил и углубил их, заявив, что литературовед обязан искать в творчестве писателя общечеловеческих мотивов, что в изображении осени, зимы и т. д. дается не классовое, а общечеловеческое отношение к природе. Этим самым Назаренко укрепляет себя в роли воинствующего глашатая реакционных буржуазно-идеалистических взглядов».

В параграфах о «художественном значении» творчества того или иного писателя самый неприкрытый формализм тесно переплетается с самым откровенным переверзианством.

Таков «марксистский» анализ, таково «марксистское» построение истории литературы в книге Назаренко. Мы уже не говорим о множестве «глубокомысленных» анекдотически-пошлых рассуждений нашего «исследователя».

Стоя на чуждых марксизму-ленинизму позициях, находясь в полном плену у буржуазных теоретиков, Назаренко контрабандой протаскивает антимарксистские взгляды на русский исторический процесс, фальсифицирует историю классовой борьбы в России. Вместо процесса жестокой классовой борьбы Назаренко рисует «смену», механический процесс умирания одних классов и рождения других. В 60-х годах «на смену дворянской идеологии, медленно уходящей со сцены, появляется буржуазная радикальная идеология». Позднее «на смену разлагающейся и сходящей со сцены старой дворянской буржуазной интеллигенции выступает новый социальный слой либеральной демократической интеллигенции».

Назаренко постоянно подменяет классовую борьбу в обществе борьбой «общества» с царской властью, которая таким образом ставится над классами. Вот один из многочисленных примеров: «Постепенное крушение веры русского общества в реформы свыше, обусловленный этим постепенный переход с либерального пути на революционную дорогу борьбы с самодержавным правительством — особенность 60-х годов».

Назаренко чужды указания Ленина, что «борьба крестьян и помещиков проходит красной нитью через всю пореформенную историю России...» У Назаренко дело решается иначе и проще: «крепостное право пало, началось переустройство жизни».

Антиленинскую оценку дает Назаренко народничеству. Он рассматривает народников как разнородную интеллигенцию, являющуюся самостоятельной «третьей силой», у которой «ссора с капитализмом и увлечение социально-реформистскими учениями». Здесь наш «марксист» выступает, таким образом, с эсеровской точкой зрения.

Если по Ленину народнические теории и программы являются действительно идейным облачением крестьянской борьбы за землю, то по Назаренко «интеллигентские лозунги демократизма и народничества частично отвечают либеральному барству, частично буржуазии».

Назаренко «обогащает» науку целым рядом откровений вроде того, что Лавров «положил грань между естественными взглядами писаревщины и материализмом Карла Маркса»; что Сен-Симон был «пламенным сторонником и пропагандистом организованного капитализма», что Струве когда-то являлся марксистом и т. д.

Характеризуя Плеханова, Луначарского, Фриче как «выдающихся критиков-марксистов», Назаренко ни слова не говорит об их ошибках, молчит и о меньшевизме Плеханова, о богоискательстве и других извращениях марксизма у Луначарского, о механистических ошибках Фриче и т. д.

Таким образом, учащимся дается извращенное представление об указанных деятелях.

Протаскивает Назаренко и меньшевистскую, реформистскую контрабанду. Так, он утверждает, что рабочему классу «необходимо захватить производство, а через него и власть». А в другом месте заявляет о «стремлении революционного пролетариата к материальному экономическому равенству». Октябрьская революция определяется как «подлинная рабоче-крестьянская революция» без всяких пояснений. Также без всякой расшифровки, без указания на роль пролетариата «основным двигателем революции» объявляется рабоче-крестьянская масса. Назаренко целиком присоединяется к буржуазной теории, подменяющей классовую борьбу борьбой за существование, за приспособление к среде. Он пишет: «Правильно рассудив, что человек вынужден идти путем необходимости именно потому, что он хочет жить, боится смерти, а жить, значит приспособляться к среде и ее законам, — Кириллов хочет совершить прыжок из царства необходимости в царство свободы».

Письмо т. Сталина в редакцию «Пролетарская революция» открывает новый этап в социалистическом наступлении пролетариата на идеологическом фронте. Письмо т. Сталина со всей остротой ставит задачу большевистской идейной нетерпимости, партийности науки, задачу беспощадного разоблачения всяких вылазок классового врага на идеологическом фронте, всяких проявлений гнилого либерализма к этим вылазкам.

По носителям этого либерализма должен быть открыт беспощадный большевистский огонь. Во сто крат он должен быть беспощаднее по отношению к таким проповедникам буржуазных теорий, как Назаренко, который выступает в роли прямого агента, воинствующего глашатая буржуазных идеологий на литературоведческом фронте, который контрабандой протаскивает антиленинские меньшевистские политические взгляды. Учебник Назаренко — враждебная марксизму-ленинизму вреднейшая книга. (Поразительно, как ГИХЛ допустил ее переиздание в 1931 г. Это и есть, гнилой либерализм!) Вред ее тем более велик, что Назаренко всячески пытается замаскироваться, обмануть бдительность читателя. Он не ставит кавычек, не указывает имен обворованных им буржуазных ученых, склоняет слова «экономика», «класс», маскируя буржуазные и меньшевистские взгляды под марксизм. Литературная деятельность Назаренко должна получить резкую политическую оценку. Тем более резкую, что Назаренко до сих пор не хочет признать вредность своих позиций. Выступая в ЛИЯ ЛОКА он заявил, что учебник его является марксистской книгой, страдающей лишь отдельными недостатками. Здесь же он дальше развивал свои антимарксистские буржуазно-идеалистические взгляды (об общечеловеческих мотивах и др.) и, наконец, договорился до прямой клеветы на партию, заявив, что «до сих пор мы (кто это «мы», т. Назаренко?) были беспризорными», что «мы ничем не помогли рабочим и крестьянам, тянувшимся к литературе». Отсюда естественно возникает вопрос о совместности взглядов Назаренко с дальнейшим пребыванием в коммунистической партии. Необходимо положить конец распространению антимарксистской враждебной ленинизму книги Назаренко. Необходимо оградить учащихся от того вреда, который она приносит. Буржуазная вермишель должна быть до конца разоблачена и изъята из числа пособий, рекомендуемых для школы.

ЗА ЛЕНИНСКИЙ УЧЕБНИК ПО ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

В период победоносного наступления пролетариата на капиталистические элементы в стране, в период ожесточенной классовой борьбы и бешеного сопротивления классового врага на всех участках идеологического фронта громадное значение в деле укрепления идейной гегемонии пролетариата и во всех областях идеологии имеет борьба за чистоту ленинской линии, непримиримость в борьбе с малейшими отклонениями от ленинизма. Разбитые в открытом бою троцкисты и др. представители контрреволюционной буржуазии пытаются использовать всякую возможность для протаскивания своих идей.

Особое значение в деле укрепления идеологических позиций пролетариата имеет подготовка кадров во всех областях идеологии. Ликвидация неграмотности в Ленинграде и Москве, успехи по этой линии во всей стране, всеобщее обучение и рост сети культурно-воспитательных учреждений, призыв ударников в литературу, рост самодеятельного движения во всех областях искусств и т. д. и т. п. — все это свидетельствует о могучих успехах культурной революции на базе успешной борьбы за достройку фундамента социализма в третьем, решающем году, о могучих тенденциях преодоления противоположности между трудом физическим и умственным. Растут вузы и рабфаки, курсы, кружки и т. д. и т. п., включающие в борьбу за овладение областями идеологии широчайшие массы рабочих и колхозников. Бурный и неуклонный рост тиражей газет, политико-экономических, философских и литературных изданий, периодических и не периодических, показывает необычайный в истории темп овладения широчайшими массами культурой, бывшей до сих пор привилегией «избранных» из господствующих классов. Рост тиражей ленинских изданий показывает, что учение Ленина и Сталина овладевает массами, вооружая их в борьбе за социализм.

На фоне этих процессов особо нетерпимым становится наличие на книжном рынке в разделе учебников по истории русской литературы, к изучению и ленинскому пониманию которой стремятся миллионные массы, большого количества буржуазных, меньшевистских и эклектических учебников, являющихся проводниками буржуазных влияний в литературе.

Борьба с троцкистскими контрабандистами в литературоведении, борьба со всеми формами просачивания буржуазной идеологии через литературу и литературную науку, беспощадная борьба с малейшими проявлениями «гнилого либерализма» к идеям классового врага, — все эти задачи, указанные тов. Сталиным в его историческом письме, являются основой дальнейшего развертывания марксистско-ленинского литературоведения. Только в беспощадной борьбе за «кровные интересы большевизма», в том числе и в литературной науке, могут быть правильно разрешены и ее положительные задачи.

Именно теперь, когда разгромлена школа меньшевика Переверзева в литературоведении, когда разоблачены и разоблачаются троцкистские контрабандисты в литературной науке, когда поставлен вопрос о критике взглядов Плеханова на основе изучения ленинского наследия, на основе ленинского понимания партийности литературы и искусства, — особенно остро встает вопрос о необходимости учебника по истории русской литературы, учебника, который бы исходил из ленинской концепции русского исторического процесса, из ленинского понимания партийного характера литературы.

Такой учебник должен быть, но он не может появиться из воздуха. Его надо организовать на основе коллективной работы марксистов-литературоведов, как был организован ряд учебников по диамату, истмату, истории и т. д. Комкадемия в лице своих литературных институтов в Москве и в Ленинграде должна немедленно взяться за это дело и на основе социалистического соревнования и ударничества в кратчайшие сроки выпустить в свет ряд учебников по истории и теории литературы.

Молодые растущие литературные кадры в лице рабфакцев, вузовцев и ударников пролетарской литературы требуют ленинского учебника по истории литературы. Он должен быть написан. И он будет написан!

Бригада ЛИЯ ЛОКА и лапповской группы критиков

«На литературном посту»:

М. Бердников.

Ф. Бутенко.

И. Гринберг.

Л. Левин.

Н. Лесючевский.

С. Малахов.

Т. Ухмылова.